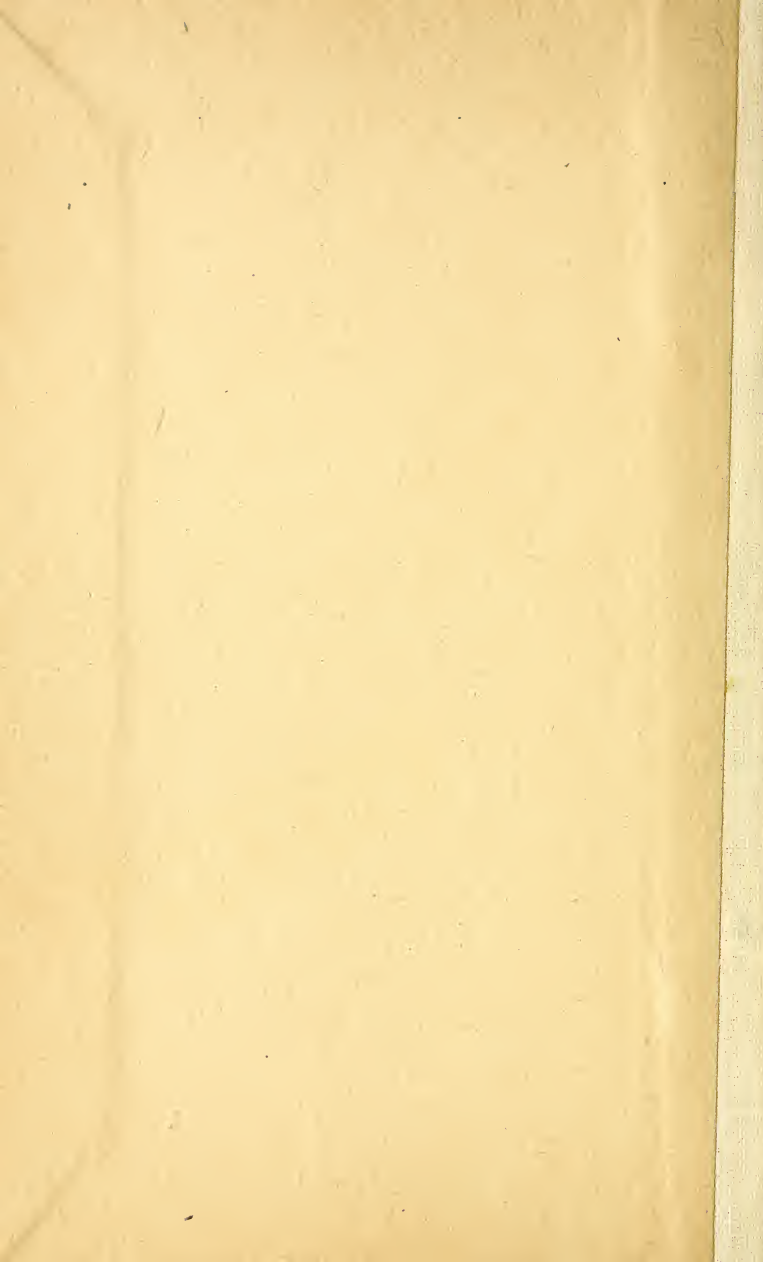


В. Горленко.

Слава

Замѣти  
по словесности и  
и суспед.

В. Крылатов.













*В. Горленко.*

---

# ОТБЛЕСКИ.

---

Замѣтки по словесности и искусству.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литографія „Энергія“, Загородный пр., д. 17.

1906.



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

## Литературные очерки.

	СТР.
Гоголь и иностранцы . . . . .	1
Романъ Бальзака и кievской помѣщицы . . . . .	27
Къ біографіи гр. А. К. Толстого . . . . .	37
Поэтъ, открытый Гоголемъ . . . . .	56
Собственные романы романистки . . . . .	74
Новый трудъ объ Эдгарѣ Поэ . . . . .	86
Первая повѣсть Сенкевича . . . . .	98
Яковъ Старостинъ . . . . .	108
Матери поэтовъ . . . . .	114

## Моралисты и кое что изъ области морали.

Фурье . . . . .	120
Эрнестъ Ренанъ въ новѣйшихъ характеристикахъ . . . . .	126
Апология дѣлового міра . . . . .	136
Книголюбы и книгокрады . . . . .	144

## Малороссія.

Записки Филиппа Орлика . . . . .	155
И. П. Котляревскій . . . . .	165
Завѣты деревни . . . . .	172

## Искусство.

Переписка Бехтовена . . . . .	183
Неизданное сочиненіе Глинки . . . . .	191
Оперный Шопенъ . . . . .	201

## Дѣла франко-русскія.

Переводчики-обрусители . . . . .	207
Изъ міра «не любо—не слушай» . . . . .	215

## Писательницы.

Новое поколѣніе . . . . .	224
---------------------------	-----

## Приложенія.

«Гимнъ хозяину», неизданный романъ М. И. Глинки.	
Стихотвореніе гр. А. К. Толстого . . . . .	



Digitized by the Internet Archive  
in 2013

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ.

## ГОГОЛЬ И ИНОСТРАНЦЫ.

---

Нѣтъ сомнѣнiя, что Гоголь пользуется въ Европѣ меньшею извѣстностью и любовью, чѣмъ Достоевскiй и Толстой, и гораздо меньшею вообще, чѣмъ заслуживаетъ его генiй. Обозрѣвая переводы Гоголя на иностранные языки, мы видимъ, что переводился онъ довольно усердно, переведенъ на языки главнѣйшихъ литературъ въ значительной части своихъ сочиненiй, причемъ многie изъ этихъ переводовъ выходили въ нѣсколькихъ изданiяхъ. Но годы изданiй показываютъ, что возобновлялись они съ значительной медленностью, тогда когда совершенно исчезали изъ обращенiя переводы болѣе раннiе. Изъ этого можно вывести, что въ европейской публикѣ, за исключенiемъ, можетъ быть, нѣмецкой, которой Гоголь знакомъ наиболѣе, нашъ поэтъ пользовался вниманiемъ почти однихъ только тонкихъ цѣнителей, не проникая въ „толпу“, дающую, впрочемъ, успѣхъ, какъ видимъ сплошь и рядомъ, и второкласснымъ писателямъ и разнымъ литературнымъ эфемеридамъ.

Первый переводъ Гоголя, Луи Виардо, („Бульба“, „Записки сумасшедшаго“, „Коляска“, „Старосвѣтскiе помѣщики“ и „Вiй“) появился въ 1845 г.,



и вслѣдъ затѣмъ та же книга вышла въ Лейпцигѣ, „nach L. Viardot übertragen“ Г. Боде. Еще раньше появились польскія переложенія, но эти переложенія, какъ всѣ переводы на родственные русскому славянскіе языки, въ нашъ обзоръ не входятъ. Въ 1849 г. выходитъ датскій переводъ „Бульбы“, а въ 1852 г.—переводъ „Ревизора“ П. Мериме, съ его же статьей о Гоголѣ и отрывками изъ другихъ его сочиненій, — новые переводы Віардо и Ксавье Мармье. „Мертвыя души“ переведены французами дважды: Моро и Шарьеромъ, причемъ переводъ послѣдняго выдержалъ три разновременныхъ изданія. „Ревизоръ“ изданъ еще въ Нефшатель, въ переводѣ Шаланда. Комедія эта ставилась въ Пале Рояльскомъ театрѣ, съ отличнымъ актеромъ Жефруа въ роли Городничаго, но игралась какъ фарсъ, не была понята публикой и особаго успѣха не имѣла. Многочисленные нѣмецкіе переводы выходили во всѣхъ главныхъ германскихъ книжныхъ центрахъ. Англійскіе—въ Лондонѣ и Нью-Йоркѣ, а переводъ „Ревизора“ въ 1890 г. въ Калькутѣ. Существуютъ шведскіе, венгерскіе, голландскіе, финскіе и испанскіе переводы Гоголя. На итальянскій языкъ переведенъ „Римъ“ (1883 г.) и „Вечера на хуторѣ“ нашимъ соотечественникомъ г. Бѣлозерскимъ.

Случайно и разновременно отзывались о Гоголѣ и европейскіе критики, которые, не будучи большею частью знакомы съ подлинными произведеніями поэта, шли на помочахъ переводчиковъ до послѣдняго времени, когда двумя-тремя новѣйшими писателями творчество Гоголя обсуж-

дено было во всемъ его объемѣ. Главнѣйшіе отзывы критики мы отмѣтимъ здѣсь, начиная съ двухъ любопытныхъ по именамъ ихъ авторовъ и самыхъ раннихъ.

### СЕНТЬ-БЕВЪ.

Случай сдѣлалъ, что первая оцѣнка Гоголя иностранцемъ вышла изъ-подъ пера критика первокласснаго, равнаго которому не было никого изъ писавшихъ о немъ потомъ. Въ 1845 году вышелъ сборникъ переводовъ изъ Гоголя Луи Виардо, принятый несомнѣнно подъ вліяніемъ Тургенева, и въ томъ же году появился отзывъ о книгѣ Сентъ-Бева, вошедшій впослѣдствіи въ его „Premiers Lundis“.

Сентъ-Бевъ начинаетъ съ указанія, что въ послѣднія тридцать лѣтъ переводы на французскій языкъ писателей и поэтовъ, прежде столь частые и любимые, стали выходить все рѣже и рѣже. Великое движеніе, одушевлявшее европейскія литературы въ первыя тридцать лѣтъ XIX вѣка и дававшее себя такъ живо чувствовать при Реставраціи, постепенно успокоилось, какъ и многое другое, и картина литературъ представляетъ теперь взору лишь огромную гладь, по которой торопливо скользятъ парусныя лодочки, но гдѣ не видно ни одной внушительной эскадры кораблей, ни одного побѣдоноснаго флага. Возможно, что совершается общая умственная работа, что уровень мыслей, знаній и цивилизаціи подымается вездѣ незамѣтно. Но въ области искусства знаме-

нитѣйшіе мастера сошли со сцены или старѣются и незамѣнены новыми, равносильными... (Критики всегда особенно строги къ современникамъ. Строки эти писаны въ разгаръ дѣятельности Бальзака, Жоржъ-Занда, Гюго, Диккенса, Текерея, Гейне, наканунѣ появленія великой русской плеяды!). Все это, продолжаетъ Сентъ-Бевъ, несомнѣнно относительно Англіи, Германіи и Италіи. Испанія пытается создать нѣкоторое возрожденіе и заставить говорить о себѣ такъ же, какъ и Россія, относительно которой, къ стыду нашему, у насъ никогда не хватаетъ времени быть достаточно освѣдомленными, даже тогда, когда живы были ея поэты Пушкинъ и Лермонтовъ. Мы поведемъ рѣчь о романистѣ и рассказчикѣ, имя котораго еще не проникло во Францію.

„Сомнительно, чтобы раньше появленія переводовъ Віардо кто-либо изъ французовъ читалъ какое-нибудь произведеніе Гоголя. И я въ этомъ случаѣ былъ похожъ на всѣхъ другихъ. Но за мною, однако, было преимущество, на которомъ я настаиваю. Однажды, во время переѣзда на пароходѣ изъ Рима въ Марсель, я встрѣтилъ лично самого автора и изъ бесѣды съ нимъ, полной ума, ясности, богатства живыхъ наблюденій надъ нравами, могъ предвкусить то, что должны заключать въ себѣ своеобытнаго и правдиваго его сочиненія. Дѣйствительно, Гоголь, повидимому, преслѣдуетъ прежде всего естественность, правду въ изображеніи жизни, какъ современной, такъ и прошедшей. Его взоръ устремленъ на геній и творчество народа, и куда бы взоръ этотъ ни обра-

щался, онъ старается открыть и проникнуть въ нихъ вездѣ. Такъ, Гоголь рассказывалъ мнѣ, что нашелъ въ Римѣ настоящаго народнаго поэта, по имени Белли, который пишетъ на транстеверинскомъ нарѣчїи сонеты, имѣющіе между собою связь и образующіе поэму. Онъ говорилъ мнѣ о немъ подробно, съ выразительностью, которая убѣдила меня въ оригинальномъ и большомъ талантѣ этого Белли, оставшагося все же никому неизвѣстнымъ.

„Я боюсь дѣлать общій выводъ о дарованїи, о которомъ могу судить только по нѣкоторымъ образцамъ. Віардо въ сдѣланномъ имъ выборѣ долженъ былъ всего болѣе заботиться о разнообразїи. Изъ пяти повѣстей, имъ переведенныхъ, каждая носитъ свой особый характеръ, и принадлежитъ къ особому роду, что прїятно можетъ быть для читателя, но затруднительно для критика. Я слышалъ отъ образованныхъ русскихъ, что въ Гоголѣ есть нѣчто сближающее его съ Мериме. Но я знаю, что сравненїя подобнаго рода всегда рискованны и въ лучшемъ случаѣ отличаются лишь отдаленной приблизительностью. Несомнѣнно одно, что Гоголь старается больше наблюдать, чѣмъ идеализировать, что онъ не отступаетъ передъ жесткою стороною вещей и голою правдой, что черты его изображенїй глубоки. Онъ прежде всего стремится къ выраженїю правды и природы и, вѣроятно, много читалъ Шекспира“.

Сентъ-Бевъ разсматриваетъ затѣмъ подробно „Тараса Бульбу“. Характеръ Бульбы онъ называетъ дикимъ, грандіознымъ, подчасъ дивно-высо



кимъ, хвалить глубокое и нѣжное чувство, съ какимъ изображена его жена и, вспоминая давишее сравненіе съ Мериме, находить, что сцены въ Сѣчи по занимательности и реализму дѣйствительно равны лучшимъ страницамъ этого писателя. То мѣсто повѣсти, гдѣ Тарасъ узнаетъ объ измѣнѣ Андрея, его изумленіе при этой вѣсти, повтореніе однихъ и тѣхъ же вопросовъ, запечатлѣнное упорнымъ недовѣріемъ, Сентъ-Бевъ признаетъ чертами, столь же глубокими, какъ тѣ, какими мы восторгаемся у Шекспира, напримѣръ, въ сценѣ изъ „Макбета“, гдѣ Макдуфъ узнаетъ о гибели своихъ жены и дѣтей. Въ эпизодѣ, гдѣ Тарасъ остается начальствовать подѣ Дубномъ и прощается съ частью войскъ, возвращающеюся въ Сѣчь, писатель, по мнѣнію французскаго критика, становится поэтомъ. Краски его живописи заставляютъ насъ здѣсь проникнуть въ душу народа, и совершенно умѣстно сдѣланное при этомъ Гоголемъ сравненіе духа славянской расы съ неизмѣримо глубокимъ моремъ. Описанія стычекъ и битвъ, слѣдующія затѣмъ, порицаются критикомъ съ точки зрѣнія французскихъ читателей, которые „sont trop peu cosaques“, чтобы интересоваться эпизодами этой казацкой „Иліады“. Критикъ отмѣчаетъ могучую правду, съ какой изображена тоска Тараса по Остапѣ, приключенія его въ дорогѣ и въ Варшавѣ, заставляющія улыбаться, не взирая на переживаемую читателемъ душевную драму, и сцену казни Остапа, дивно поставленную и гдѣ авторъ нацѣлъ звуки высокаго патетизма. Повѣсть выясняетъ причины несогласій двухъ родствен-

ныхъ племенъ и политическій и религіозный гнетъ, которому подвергала Польша Малороссію.

Другія повѣсти Гоголя показываютъ разнообразіе его таланта. Критикъ жалѣетъ, что не сдѣланъ былъ выборъ болѣе однородныхъ вещей, чтобы обрисовались сразу главныя черты дарованія писателя. Сентъ-Бевъ останавливается на „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“, составляющихъ такой счастливый контрастъ съ воинственными и кровавыми сценами „Бульбы“. Идиліи этого рода, съ ихъ спокойствіемъ и мягкой кротостью, считались французами едва даже возможными въ Россіи. Этотъ прелестный и утонченно написанный рассказъ Сентъ-Бевъ считаетъ достойнымъ Чарльза Ламба съ тою разницею, что во второй его половинѣ авторъ обрѣтаетъ опять ту глубину выраженія и скорби, которая отмѣчена уже въ „Бульбѣ“. Переводъ Віардо, заключаетъ критикъ, сдѣлаетъ имя Гоголя извѣстнымъ во Франціи, какъ имя истиннаго таланта, проникновеннаго и безпощаднаго наблюдателя человѣческой природы.

#### МЕРИМЕ.

Такіе критики, какъ Сентъ-Бевъ, писавшій свой очеркъ, въ общемъ столь вѣрный, до появленія „Мертвыхъ душъ“ и знакомства съ другими произведеніями Гоголя, во всѣхъ литературахъ составляютъ особенныя явленія. Но его прекрасный литературный портретъ остался болѣе памятникомъ проникательности знаменитаго критика, одинокимъ голосомъ, мало проникшимъ въ равно-

душную тогда ко всему иноземному французскую читающую публику, и прошелъ безслѣдно, тѣмъ болѣе, что и выходъ переводовъ изъ Гоголя въ то время пріостановился. О Гоголѣ напомнилъ чрезъ нѣсколько лѣтъ Просперъ Мериме, со временъ Пушкина слегка знакомый съ русской литературой и, что особенно рѣдко, съ русскимъ языкомъ, что позволяло ему непосредственно узнавать нашихъ писателей.

Его этюдъ, въ которомъ приведены цѣлыя главы „Мертвыхъ душъ“ и отдѣльныя сцены „Ревизора“, представляетъ смѣсъ вѣрныхъ замѣчаній съ невѣрностями, недомыслиемъ и, что хуже, съ нѣкоторой самонадѣянностью литературной знаменитости, которой все дозволено. Владѣя русскимъ языкомъ и переведя „Ревизора“, онъ заявляетъ, что не ознакомился со всѣми сочиненіями Гоголя и будетъ говорить только о главныхъ, а слѣдовательно, на основаніи ихъ только и дѣлать свои выводы. „Впрочемъ, — спѣшитъ прибавить онъ, — какъ романистъ и драматургъ, Гоголь заслуживаетъ отдѣльнаго изученія и сочиненіямъ его не достаетъ только болѣе распространеннаго языка, чтобы получить въ Европѣ извѣстность, равную произведеніямъ лучшихъ англійскихъ юмористовъ“.

„Тонкій до мелочности наблюдатель, искусный въ подмѣчиваніи смѣшного и смѣлый въ его изображеніи, хоть и склонный къ преувеличенію его до шутовства, Гоголь прежде всего — полный оживленія сатирикъ. Онъ беспощаденъ къ злымъ и глупымъ, но у него одно лишь оружіе — иронія.



Вполнѣ умѣстная противъ смѣшного, она кажется иногда недостаточной относительно преступнаго, а къ преступному то и обращена она у него чаще всего. Его комизмъ граничитъ нѣсколько съ фарсомъ, и его веселость не заразительна. Если онъ заставляетъ иногда смѣяться читателя, то оставляетъ въ душѣ его также чувство горечи и негодования, и сатиры его не отомстили обществу, а только озлобили его“.

Нечего возражать противъ этого узко-французскаго взгляда, низводящаго комическое въ поэзіи чуть ли не на степень гигиеническаго фактора, требующаго „примиренія“, подобно тому, какъ требуютъ въ театрѣ французскіе зрители благополучнаго окончанія пьесъ. Говоря далѣе объ искусствѣ, съ какимъ Гоголь наблюдаетъ и передаетъ мелочныя черты жизни, Мериме сожалеетъ, что онъ часто теряется въ подробностяхъ, упуская главныя линіи и черты. Несправедливость критика здѣсь очевидна. У Гоголя, можетъ быть, нѣтъ широкой концепціи, того общаго образа жизни и міра, какая чувствуется у Гете, Байрона и Пушкина. Но типы его—типы міровые по своему значенію и захвату. Его комическій геній равенъ только генію Сервантеса, превосходя глубиною проникновенія и широтою полета Мольера и Теккерея.

О „Мертвыхъ душахъ“, всего значенія которыхъ онъ также не постигъ, Мериме все-же высокаго мнѣнія. Подробности нравовъ и портреты современниковъ начертаны здѣсь рукою мастера. „Настоящимъ *tour de force* было извлечь столько столь различныхъ и столь забавно отгнѣненныхъ

сценъ изъ одного и того же положенія“. Подобно „Мертвымъ душамъ“, называетъ Мериме и „Ревизора“ горькой и могучей сатирой, скрытой подъ нѣсколько поверхностной веселостью или, правильнѣе сказать, подъ грубоватой шуткой, которая въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ напоминаетъ манеру Аристофана. „Авторъ, хотъ живетъ и не въ республикѣ, обнаруживаетъ не меньше смѣлости и свободы въ бичеваніи пороковъ русскаго чиновничества. Онъ рисуетъ его корыстнымъ, порочнымъ, исполненнымъ произвола. Быть можетъ вслѣдствіе неоспоримой точности портретовъ, авторъ не встрѣтилъ никакого затрудненія въ перенесеніи своихъ изображеній на сцену. Правительство, не въ силахъ будучи уничтожить порочность, само страдающее прежде всего отъ чиновничьей испорченности, встрѣтило охотно такого помощника, какъ Гоголь“. Мериме повторяетъ опять свою мысль о недостаточности смѣха тамъ, гдѣ передъ писателемъ находится порокъ, заслуживающій кары, забывая и условія дѣятельности русскаго писателя, и художественное значеніе изображенія Гоголемъ оттѣнковъ испорченности и порока въ русской дѣйствительности.

Неожиданно недостаточно благосклоненъ авторъ „Карменъ“ и къ повѣстямъ Гоголя, видя въ нихъ „колебанія, которыя переживалъ Гоголь прежде чѣмъ выйти на свой настоящій путь и тотъ литературный родъ, на которомъ онъ долженъ былъ остановиться. Гоголь будто бы спрашивалъ себя, долженъ ли онъ идти за Стерномъ, Вальтеръ Скоттомъ, Шамиссо или Гофманомъ? Онъ хорошо сдѣ-

лалъ, обратясь въ послѣдствіи на путь своего истиннаго призванія“.

Безусловно восхищается Мериме одними „Старосвѣтскими помѣщиками“, признаваемыми имъ шедевромъ. „Смѣешься и плачешь, читая эту прелестную повѣсть, гдѣ искусство рассказчика скрыто подъ простотой рассказа. Все здѣсь правдиво истинно. Нѣтъ ни одной подробности, которая не была бы очаровательна и не содѣйствовала общему впечатлѣнію“. „Записокъ сумасшедшаго,“ критикъ опять не понялъ, найдя въ нихъ одну патологию и просмотрѣвъ общественное значеніе этой „арабески“. Въ „Віѣ“ онъ одобряетъ искусную смѣсь реальнаго съ фантастическимъ, зависящую отъ первоначальной постановки лицъ. Но въ оцѣнкѣ „Тараса Бульбы“ совершенно расходится съ Сентъ-Веномъ. Въ самомъ Тарасѣ онъ видитъ почти разбойника (bandit), также какъ и во всѣхъ воюющихъ запорожцахъ, изображенныхъ красками блестящими и яркими. „Кромѣ того, изображеніе этихъ нравовъ вставлено въ фабулу столь тривиальную и романическую, что становится жалко глядѣть. Самая прозаическая канва была бы уместнѣе, чѣмъ эта мелодрама, гдѣ нагромождены всевозможные ужасы. Въ общемъ чувствуется, что авторъ стоитъ на зыбкой почвѣ. Шагъ его не вѣренъ, а всегда ироническое изложеніе дѣлаетъ еще болѣе тягостнымъ чтеніе этого жалостнаго повѣствованія,..“

И вдругъ, послѣ такого отзыва, Мериме становится рабскимъ подражателемъ этого „жалостнаго повѣствованія“, выкрадывая изъ „Тараса

Бульбы“ цѣлый эпизодъ и перенося его цѣликомъ въ одинъ изъ своихъ разсказовъ! Разсказъ этотъ — „Матео Фальконе“ — заключаетъ въ себѣ сцену, повторяющую буквально Гоголя, — сцену, въ которой отецъ становится судьей измѣны, совершенной сыномъ. Подробности мщенія, спокойствіе и холодность разсказа, рассчитанныя на то, чтобы усилить впечатлѣніе ужаса поступка, самыя слова — все взято у нашего поэта. И грустиѣ всего, что эта сцена повѣсти Мериме превознесена давно европейскими критиками и читателями, по большей части не вѣдающими даже ничего о ея первообразѣ...

#### ДЮПЮИ.—ЦАБЕЛЬ.—ВАЛИШЕВСКІИ.

Еъ 1885 году вышло одно изъ раннихъ сочиненій, специально посвященныхъ русской словесности „Les grands maitres de la littérature russe“, Эрнеста Дюпюи, вскорѣ увѣнчанное академической преміей и выдержавшее нѣсколько изданій.

Треть книги посвящена Гоголю. Сочиненіе это чрезвычайно благожелательно къ нашей литературѣ и нашимъ писателямъ, но доброе расположеніе и добрыя намѣренія не опираются въ немъ ни на твердое знаніе, ни на критическое проникновеніе, которое позволяетъ угадывать многое, на примѣръ, Сентъ Беву. Авторъ приноситъ благодарность какимъ-то двумъ „jeunes savants russes“, гг. Крушколю и Дерюжинскому, помогавшимъ ему въ трудѣ. Помощь этихъ ученыхъ мужей не помѣшала ему испещрить книгу самыми забавными



ошибками — обстоятельство, не воспрепятствовавшее впрочемъ французскому ученому синклиту признать ея достоинства. По словамъ Дюпюи, Гоголь, принимаясь за первыя свои сочиненія, окружилъ себя всевозможными документами, поставилъ на ноги всѣхъ присныхъ для собиранія легендъ и повѣрій и, когда „проникся достаточно варварствомъ, чтобы говорить и думать по образу казака послѣдняго (XVIII?) нѣка, написалъ сочиненіе и современное и архаическое, проникнутое и ученостью, и энтузіазмомъ, грубоватое и утонченное,—русское, однимъ словомъ, и издалъ его подъ именемъ „Вечеровъ на хуторѣ“.

Своеобразно передана и первоначальная судьба Гоголя въ Петербургѣ. Гоголь получилъ мѣсто преподавателя по ходатайству Пушкина и Плетнева, тогдашняго министра народнаго просвѣщенія. Но, не выдержавъ тяжести службы, уѣхалъ въ Малороссію, гдѣ написалъ „Тараса Бульбу“. Прочитавъ „Бульбу“, министръ Плетневъ сдѣлалъ заключеніе, что человѣкъ, живо чувствующій прошлое, долженъ хорошо передавать знанія другимъ и предложилъ Гоголю каѳедру исторіи среднихъ вѣковъ.

Давъ столь точныя свѣдѣнія о писателѣ, Дюпюи храбро пускается въ разсужденія о русской литературѣ и русскомъ реализмѣ, „болѣе раннемъ, и да позволено будетъ мнѣ сказать, болѣе высокопробномъ, чѣмъ нашъ, французскій“. Шаткость мысли автора и голословность утвержденій лишаютъ цѣны эти пріятныя для нашего національнаго самолюбія заключенія.

Не все, конечно, слабо и смѣшно въ этомъ очеркѣ. Есть вѣрныя страницы и мнѣнія, тамъ, главнымъ образомъ, гдѣ авторъ пишетъ со словъ Тургенева, котораго лично зналъ и которому посвящена книга. Но курьезы попадаются до конца, не исправленные или, можетъ быть, какъ плохая шутка, внушенная автору его русскими учеными совѣтниками: „Бульба“ первоначально написанъ былъ въ стихахъ и потомъ передѣланъ въ прозу. Содержаніе „Шинели“ состоитъ въ томъ, что маленькому чиновнику такъ хочется имѣть этотъ предметъ туалета, что отъ думъ о немъ онъ сходитъ съ ума. „Записки сумасшедшаго“ заставляютъ предчувствовать личное помѣшательство Гоголя, случившееся впоследствии. Всѣ эти драгоценныя свѣдѣнія признаны были французской академіей достойными похвалы и поощренія.

Оцѣнка Гоголя и свѣдѣнія о немъ даны были также Луи Леже и Курьеромъ, въ его поверхностной „Исторіи русской литературы“. Какъ основанные на русскихъ источникахъ, они не представляютъ интереса самостоятельныхъ взглядовъ иностранцевъ, которые насъ занимаютъ здѣсь. То же можно сказать и о характеристикѣ Гоголя, сдѣланной Цабелемъ въ его „Literarische Streifzüge durch Russland“, выгодно отличающейся, впрочемъ, нѣмецкою точностью и обстоятельностью.

Одинъ изъ самыхъ новѣйшихъ историковъ русской литературы, Валишевскій \*)—не чета, конечно, Эрнесту Дююи. Но черезъ всю его книгу

---

\* Litterature russe, par R. Waliszewski. Paris. 1900. Colin.

съ внѣшней стороны отлично, мѣстами даже блестяще написанную, проходить нехорошее и явное намѣреніе, понизить значеніе русскихъ литературныхъ явленій, отнять у нихъ достоинство самобытности и новизны. Отражается оно и на страницахъ, посвященныхъ Гоголю. Нельзя, по Валишевскому, говорить о какомъ-то русскомъ юморѣ, ибо его нѣтъ, а есть только англійскій юморъ, перенесенный на русскую почву. Высокое состраданіе и милосердіе, заложенные въ основу народнаго русскаго духа и отразившіяся въ литературѣ, ничуть не составляетъ нашей самостоятельной духовной черты, а суть явленія отраженные, давно господствовавшія въ литературахъ Европы. Что толковать о гоголевскомъ „смѣхѣ сквозь слезы“, когда онъ заимствованъ у Стерна? Гоголь, подобно Толстому, талантъ безсознательный, а какъ о мыслителѣ, о немъ и говорить не приходится. Зачѣмъ превозносить комизмъ и манеру Гоголя въ повѣстяхъ и романѣ, когда все это скопировано съ Дикенса, на которомъ воспитался Гоголь?... Здѣсь тенденціозныя толкованія Валишевскаго переходятъ въ подтасовку, рассчитанную на малое знакомство французовъ съ русской литературной исторіей. Повѣсти Гоголя появились за пятнадцать лѣтъ до выступленія на поприще Дикенса, о вліяніи котораго на нашего поэта не можетъ быть и рѣчи! Усердіе г. Валишевскаго доходитъ до того, что онъ не желаетъ оставить Гоголю даже неудавшейся и невыясненной фигуры добродѣтельнаго богача Муразова и объявляетъ его копіей съ *monsieur Madeleine*, изъ „Несчастныхъ“ Гюго, вы-



шедшихъ въ свѣтъ, когда „Мертвыя души“ были давно написаны, и съ которымъ Гоголь ознакомился, очевидно, въ рукописи...

Такія и подобныя утвержденія, какъ, напри-мѣръ, увѣреніе, что „Ганцъ Кюхельгартенъ“ есть исторія личной, неудавшейся любви Гоголя, лишаютъ очеркъ талантливаго, но беззастѣнчиваго г. Валишевскаго всякаго значенія, такъ какъ правда, очевидно, перемѣшана въ немъ съ умышленной неправдой.

### ДЕ-ВОГЮЕ.

Книгѣ Де-Вогюе «Le roman russe», гдѣ помѣщенъ этюдъ о Гоголѣ, принадлежитъ безспорно историческое значеніе. Это былъ мостъ, перекинутый „съ того берега“ на нашъ строителемъ, знакомымъ съ обоими берегами выбравшимъ для своей постройки мѣсто и время наиболѣе удобныя. Многочисленныя явленія русской исторіи, жизни и литературы были непонятны французамъ. Вогюе объяснилъ исторически эти явленія, рассказалъ ходъ развитія литературы въ Россіи, поясняя все сравненіями и примѣрами изъ литературы французской, и другихъ европейскихъ, не всегда одинаково вѣрными и точными, но уяснявшими дѣло и ставившими западнаго читателя на надлежащую точку зрѣнія. А до чего велика разница явленій жизни, а слѣдовательно и ихъ отраженія въ поэзіи, какая пропасть отдѣляетъ русскій бытъ и творчество отъ европейскаго, показываетъ примѣръ даже такого исключительно освѣдомленнаго въ

русскихъ дѣлахъ человѣка, какъ самъ Вогюе. При всѣхъ своихъ знаніяхъ, онъ не понялъ Пушкина и не далъ ему въ своей книгѣ надлежащей оцѣнки и значенія. Онъ просмотрѣлъ въ немъ поэта-реалиста послѣднихъ его годовъ, автора „Онѣгина“, „Капитанской дочки“, „Лѣтописи села Горохова“, „Годунова“ и „Каменнаго гостя“, и приписалъ Гоголю всю ту заслугу, половину которой нашъ сатирикъ самъ бы, безъ сомнѣнія, отнесъ къ своему великому другу.

Очеркъ Вогюе наиболѣе извѣстенъ у насъ изъ всего написаннаго о Гоголѣ иностранцами, онъ переведенъ по русски и, несмотря на все его значеніе, въ силу этого, мы остановимся на немъ всего менѣе. Нельзя однако не отмѣтить нѣкоторыхъ мѣстъ статьи выдающихся своею мѣткостью и дающихъ ей особое значеніе.

„У насъ, — говоритъ Вогюе, — юмористъ набрасывается на свою жертву, осыпаетъ ее ударами, издѣвается надъ ней, вымѣщаетъ на попавшемся идиотѣ всю злобу свою на человѣческую глупость. Гоголь, напротивъ, потѣшается надъ своимъ героемъ съ затаеннымъ состраданіемъ. Онъ смѣется надъ нимъ, какъ смѣются надъ простотою ребенка, съ скрытою нѣжностью. Для нашего юмориста человѣкъ слабый разумомъ—только презрѣнное чудовище. Для Гоголя—это несчастный братъ“.

Въ „Ревизорѣ“ Вогюе видитъ одно лицо, абстрактное, но стоящее передъ нашими очами на авансценѣ: административную Россію, позорныя язвы которой, продажность и произволъ, обнажены передъ нами. Вызывающая негодованіе у ино-

странца, у русскаго зрителя комедія вызываетъ лишь смѣхъ. Критикъ объясняетъ это давней привычкой русскаго человѣка къ изображаемымъ Гоголемъ явленіямъ.

Въ „Мертвыхъ душахъ“ Вогюе, кромѣ высокаго искусства прославляетъ „чувство евангельскаго братства, любовь къ малымъ, жалость къ страждущимъ. Писатель постигъ эту высочайшую черту народнаго характера, поетъ и славить, узнавъ ее изъ души и быта своего народа“.

Одно мѣсто поэмы, сцену Чичикова, читающаго списокъ купленныхъ мертвыхъ и бѣглыхъ мужиковъ и раздумывающаго объ ихъ жизни, критикъ отмѣчаетъ, какъ высшую точку гоголевскаго творчества. По увлеченію, полету мысли, скрытой глубокой страсти и по языку, то огненно-краснорѣчивому, то совсѣмъ простому, то строго точному, то воздушному какъ мечта, критикъ считаетъ эту страницу не имѣющей себѣ равной во всей русской литературѣ и передаетъ впечатлѣніе гоголевскихъ строкъ съ истиннымъ оживленіемъ и подъемомъ:

„Изъ этой шкатулки, передъ этимъ мошенникомъ, предъ нами возстаетъ гигантскій призракъ русскаго народа, воплощается въ плоть и кровь племя, которымъ торгуютъ, какъ скотомъ. Загрубѣвшія отъ привычки слова языка журуютъ или ласкаютъ бѣдныхъ рабовъ, какъ бы обращаясь къ молодымъ животнымъ. Но сквозь эту грубоватую безцеремонность чувствуется растроганная душа писателя. Можетъ быть, вспоминаетъ онъ, что тридцать лѣтъ назадъ эти души, рабскія и мертвыя,

были героями 1812 года; что, ничего не спрашивая и ни на что не надѣясь, эти рабы,—примѣръ единственный въ исторіи—освободили отечество отъ нашествія врага, омочивъ своей кровью ту землю, къ которой ихъ самихъ приковывало рабство...“.

Создателю русскаго романа и выразителю лучшихъ сторонъ русскаго духа должно принадлежать по крайней мѣрѣ столько же вниманія, какъ его послѣдователямъ и ученикамъ, и де-Вогюе, заслуги котораго въ ознакомленіи Запада съ русскою литературой такъ велики, и въ своемъ исторически-памятномъ очеркѣ и впослѣдствіи никогда не переставалъ ратовать за это право нашего Гоголя, утверждая, что „Мертвыя души“ должны быть въ библіотекѣ cadaго образованнаго человѣка наравнѣ съ „Донъ - Кихотомъ“ Сервантеса.

#### ФРАНКО-БОЛГАРСКАЯ КНИГА О ГОГОЛЬ.

Въ концѣ 1901 года, въ Эксѣ, во Франціи, вышла диссертация болгарки Раины Тырневой, представленная на соисканіе степени доктора словесности въ Ліонскомъ университетѣ и благосклонно имъ принятая, темою которой явился Гоголь\*). Изслѣдованія на степень носятъ всегда иной характеръ, чѣмъ просто свободный литературный

---

\*) Nicolas Gogol. *ecrivain et moraliste*, These de doctorat, présentée a la soutenance devant la faculté des lettres de l'Université de Lyon par M-lle Tyrneva. 1901. 288 p. in 8°.



трудъ; въ европейскомъ критическомъ хорѣ о Гоголѣ вновь раздавшійся голосъ не могъ прибавить чего либо значительнаго, и критическія свои способности изслѣдовательницѣ надлежало еще доказать. Но выборъ темы и объясненія молодой словесницы о намѣреніяхъ, ее одушевлявшихъ, разумѣется, располагали сейчасъ же читателя въ пользу книги.

Г-жа Тырнева посвятила изслѣдованіе дѣду своему, протоіерею въ Филиппополѣ Теодору Евтимову. Воспитанница филиппопольской гимназіи, съ первыхъ же лѣтъ ученія, подъ руководствомъ прекрасныхъ преподавателей, она познакомилась съ русской литературой и еще на школьной скамѣ особенно полюбила сочиненія поэта-малороссіянина. Въ дальнѣйшихъ занятіяхъ словесной наукой въ Парижѣ, въ Эксѣ, она старалась найти сближеніе тѣхъ или иныхъ чертъ западныхъ писателей съ творчествомъ Гоголя. Знакомство же съ новѣйшей русской словесностью сдѣлало въ глазахъ ея трудъ о Гоголѣ нравственнымъ долгомъ. Особенности русской литературной школы и русскаго реализма, такъ отличающагося своей человѣчностью отъ реализма западнаго, находятся уже всѣ налицо въ созданіяхъ творца „натуральной школы“. И ей казалось огромной несправедливостью незаслуженное забвеніе учителя при громкой европейской славѣ учениковъ.

Г-жа Тырнева знакома въ подлинникъ съ Гоголемъ и пользуется также значительнымъ, хоть и не систематическимъ запасомъ русскихъ литературныхъ матеріаловъ о немъ.

Она ссылается на труды Кулиша, Шенрока, Анненкова, статьи Бѣлинскаго, Чернышевскаго и Пыпина; на замѣтки и матеріалы, появлявшіеся въ нашихъ историческихъ и общихъ журналахъ и даже газетахъ, на большую часть того, что писалось о Гоголѣ во Франціи. Но къ источникамъ своимъ относится она недостаточно критически и ошибается подчасъ въ степени ихъ достовѣрности. Относится это особенно къ часто упоминаемымъ ею запискамъ Смирновой,—матерьялу, съ которымъ обращаться надо крайне осторожно. Къ письмамъ Смирновой, на основаніи которыхъ записки составлены, редакторша ихъ, дочь Смирновой, присоединила страницы фантастическихъ придатковъ. Еще болѣе фантазіи въ самостоятельныхъ «Etudes et Souvenirs» той же Ольги Смирновой. Оба эти источника г-жа Тырнева воспроизводитъ какъ строки Писанія. Что до невыясненности и фактическихъ ошибокъ, пестрящихъ то тутъ, то тамъ ея тягучее повѣствованіе, то объясняются онѣ чисто личными промахами авторши и къ украшенію труда ея, конечно, не служатъ.

Спѣшность ли работы, или опасная въ данномъ случаѣ близость русскаго языка къ болгарскому и различіе значенія словъ при звуковомъ ихъ сходствѣ,—но погрѣшностей въ книгѣ г-жи Тырневой не мало и, прежде чѣмъ перейти къ положительной сторонѣ работы, приходится отмѣтить „ея ошибокъ скорбный листъ“. По увѣренію г-жи Тырневой, Гоголь въ гимназій написалъ „Математическую энциклопедію“, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности онъ только выписалъ

это сочиненіе, любя книги малаго формата. Въ Петербургъ онъ стремился, одушевленный примѣромъ Трощинскаго, составившаго себѣ тамъ карьеру. Герои комедіи Гоголя-отца „Простакъ“,— Романъ и Параска,—глуповатые старики, если вѣрить г-жѣ Тырневой, превращены его сыномъ въ молодыхъ влюбленныхъ, Петра и Пидорку „Вечера наканунѣ Ивана Купала“. Кочубей, казненный Мазепой, былъ гетманъ. „Вечера на хуторѣ“—были произведеніемъ, предназначеннымъ для чтенія наивнымъ простолюдиномъ, жаднымъ до чудеснаго, которое отвлекаетъ ихъ отъ печальной дѣйствительности. Вліяніе того, что авторша называетъ „romantisme russe“, если не чувствуется въ „Вечерахъ“, то начинается проявляться въ сочиненіяхъ Гоголя съ 1832 по 1836 годъ, усиленное вліяніемъ западныхъ романтиковъ. Это было почти несчастіемъ для Гоголя, ибо онъ удалялся все болѣе и болѣе съ своего настоящаго пути и рисковалъ потеряться на этой поперечной дорогѣ. Только въ 1836 г. Гоголь сознаетъ свое настоящее призваніе, къ чему привели его и разочарованья личной жизни...

Г-жа Тырнева принимаетъ въ серъезъ названіе „студентъ философіи“, принадлежащее гоголевскому Хомѣ Бруту, и говоритъ, что Гоголь какъ бы умышленно поставилъ глазъ на глазъ философа съ сверхъ естественными явленіями. Его философъ смѣшонъ тѣмъ болѣе, что противъ чаръ и колдовства онъ, казалось, бы, вооруженъ орудіемъ науки! Въ „Віѣ“ она находитъ вліяніе Гофмана, съ которымъ Гоголь познакомился, изучая нѣмецкій



языкъ подѣ руководствомъ Жуковскаго. Между тѣмъ это чисто народная легенда, во многихъ вариантахъ извѣстная по этнографическимъ сборникамъ. Однако, утѣшаетъ насъ авторша, и въ „Вечерахъ“ „Миргородѣ“, и въ „Арабескахъ“ сквозъ западный романтизмъ „il perçe dans l'oeuvre de Nicolas quelque chose de russe“ (Въ большей части своей книги авторша почему-то называетъ Гоголя просто по имени). Пушкинъ, сравнительно съ Гоголемъ, представлялъ противоположную школу,—школу русскаго романтизма. Но, не навязывая своихъ взглядовъ и мнѣній, онъ направлялъ Гоголя на путь его настоящаго таланта. Вскорѣ, однако, онъ отправился на Кавказъ, гдѣ какъ извѣстно, и былъ убитъ на дуэли. Г-жѣ Тырневой слѣдовало бы лучше звать біографію Пушкина. Она, впрочемъ, незнаніемъ не стѣсняется и утверждаетъ, что въ полемикѣ, вызванной „Перепиской съ друзьями“, дѣятельное участіе принимаетъ Чернышевскій и около того же 1847 года Гоголь печатаетъ свою „Авторскую исповѣдь“ (найденную безъ заглавія лишь послѣ его смерти)... Всего неумѣстнѣе серьезное обсужденіе г-жей Тырневой компа „Мертвыхъ душъ“, придѣланнаго нѣкимъ литературнымъ добровольцемъ, хотя и съ оговоркой, что конецъ этотъ «n'est pas absolument authentique“...

Несоотвѣтствіе пропорцій, пристрастіе къ фразѣ излишняя болтливость—также грѣшки г-жи Тырневой. А еще въ многорѣчии, этомъ общемъ свойствѣ женщинъ-писательницъ она рѣшается упрекать... своего героя, Гоголя!

Но положительными сторонами труда г-жи Тыр-

невой являются все же обоснованный и сравнительно полно изложенный очеркъ развитія таланта Гоголя и его дѣятельности. Цѣну этому очерку для западныхъ читателей даютъ особенно введеніе въ него хорошихъ русскихъ матеріаловъ, какъ отзывы Пушкина, Бѣлинскаго, отрывки изъ писемъ и статей самого Гоголя, изъ біографій его Кулиша и Шенрока. Отсутствие собственнаго критическаго дара восполняется до нѣкоторой степени въ трудѣ г-жи Тырневой ея начитанностью.

Выводы авторши сводятся къ слѣдующему: Гоголь теоретически и практически утвердилъ литературный реализмъ въ Россіи, сообщивъ ему эстетическое и общественное значеніе. Его сперва веселый смѣхъ переходитъ въ горькій при столкновеніи съ уродствомъ жизни, но остается смѣхомъ человѣка, любящаго людей и страдающаго отъ зрѣлища ихъ паденія. Двойною основою дарованія Гоголя являются эстетическій песимизмъ и мысль объ общественномъ благѣ. Противупоставляя русскихъ реалистическихъ писателей, на примѣръ, французскимъ, мы видимъ что французскіе реалисты суть жрецы искусства для искусства, русскіе же къ искусству своему присоединяютъ нравственные запросы, горячее желаніе общественнаго совершенствованія. Съ половины тридцатыхъ годовъ Гоголь направляетъ взоры общества на великіе вопросы литературы и жизни. Завѣты его русскому литературному творчеству—въ правдивости изображеній преслѣдовать высшія и идеальныя цѣли. Вліяніе Гоголя было неотразимо и уже при жизни его слово дало такіе всходы, какъ

„Бѣдные люди“ Достоевскаго и „Записки охотника“ Тургенева. Завѣты создателя „натуральной школы“ проходятъ красною нитью чрезъ всю русскую литературу второй половины XIX вѣка, вплоть до „Воскресенія“ Толстого.

„Нельзя не видѣть въ особенности этого состраданья къ униженнымъ, — восклицаетъ г-жа Тырнева въ заключеніе, — этого христіанскаго братства, которое, обновляющимъ и цѣлебнымъ дыханіемъ, вѣетъ изъ русской литературы на страны Запада, — вѣяніе, посылаемое старой Европѣ молодымъ еще Востокомъ для будущихъ жатвъ. Состраданіе, господство любви, смѣняющее господство эгоизма, „миръ“ торжествующій надъ „войной“, истинное братство, основанное на истинномъ равенствѣ, — не все ли это зерна, посѣянные Гоголемъ и давшія чудные ростки въ послѣдующей русской поэзіи?...“

Въ главныхъ своихъ чертахъ заключенія г-жи Тырневой повторяютъ выводы Де-Вогюэ, подкрѣпляя ихъ литературой предмета. Но лучше повторенія прежнихъ вѣрныхъ взглядовъ, чѣмъ высказываніе новыхъ вздорныхъ. Разсмотрѣнная книга имѣетъ вдобавокъ значеніе какъ популяризація взглядовъ. Всякія воззрѣнія можно тогда лишь считать установленными, когда они проникнутъ въ среднюю публику и въ среднюю литературу, каковою по большей части и является литература академическая, — а къ ней принадлежитъ эта книга.

Появившіеся въ русскихъ газетахъ по поводу гоголевскаго юбилея отзывы иностранныхъ писа-

телей показали, что даже выдающіеся изъ нихъ знакомы съ Гоголемъ болѣе по наслышкѣ. Только при этихъ данныхъ и возможны были недавнія разглагольствованія Зола о натурализмѣ, какъ о нѣкоемъ откровеніи, разговоры, которые терпѣливо слушала и русская публика. Не достаточная оцѣнка Гоголя зависить отъ отсутствія переводовъ его и отъ уродствъ и искаженій, какими полны переводы существующіе. Довольно сказать, что въ переводѣ Шарьера обѣ части „Мертвыхъ душъ“ слиты вмѣстѣ, главамъ даны названія, въ родѣ „Le fou et le sage dans les steppes“, текстъ искаженъ непониманіемъ, и къ поэмѣ присоединено нелѣпое „окончаніе“ ея, написанное когда-то г. Ващенко-Захарченкомъ. А вѣдь критики, писавшіе о Гоголѣ, судили большею частью по такимъ переводамъ.

Статьи и изслѣдованія—дѣло полезное, но болѣе всего нужны хорошіе переводы Гоголя. Умныхъ людей достаточно въ Европѣ, нашего поэта они поймутъ и оцѣнятъ—и одною силою своего дарованія Гоголь займетъ въ Пантеонѣ всемірной поэзіи принадлежащее ему по праву мѣсто.

---



## РОМАНЪ БАЛЬЗАКА и КІЕВСКОЙ ПОМѢЩИЦЫ.

---

Женитьба Бальзака на полькѣ Эвелинѣ Ганской въ томъ видѣ, какъ о ней передается въ біографіяхъ писателя и какъ она утвердилась въ представленіи большинства, является чрезвычайно романическимъ эпизодомъ, какъ нельзя болѣе подходящимъ къ создателю столькихъ поэтическихъ фикцій, живонисцу сильныхъ страстей, глубокихъ и своеобразныхъ характеровъ. Заочное знакомство при помощи писемъ, условленная встрѣча на глазахъ мужа, продолжительное вдовство г-жи Ганской послѣ смерти супруга и столь же продолжительная вѣрность ей Бальзака и, наконецъ, вѣнчаніе въ украинской глуши и смерть писателя, послѣдовавшая послѣ нѣсколькихъ лишь мѣсяцевъ достигнутаго „счастья“,—все это яркіе элементы романа, испытанные тѣмъ, кто создалъ столько романовъ своимъ воображеніемъ. Въ повѣствованіяхъ объ этой женитьбѣ чувствовалось, однако, всегда что-то недоговоренное, непонятное. Почему г-жа Ганская оставалась такъ долго вдовой, отчего тонъ писемъ къ ней Бальзака, помѣщенныхъ въ двадцать четвертомъ томѣ собранія его сочиненій, такъ спокоенъ. Зачѣмъ осмѣлилась



вдова Бальзака вносить поправки въ посмертное изданіе этихъ писемъ, отчего отсутствовала она при его кончинѣ? Подлинныя письма писателя къ другимъ лицамъ, болѣе близкое знакомство съ героиней его личнаго романа и показанія свидѣтелей, не внушающихъ сомнѣнія, уясняютъ эти неясности и противорѣчія и, не мѣняя фактовъ, представляютъ знаменитый эпизодъ въ иномъ, болѣе простомъ, но и болѣе правдивомъ видѣ.

Страстный поклонникъ Бальзака и его біографъ, графъ Шпельперкъ де-Ловенжуль напечаталъ разновременно нѣсколько этюдовъ, уясняющихъ эту исторію съ желательной полнотой. Де-Ловенжуль, живущій въ Брюсселѣ, владѣетъ болѣею частью подлинныхъ рукописей Бальзака, писемъ его и къ нему отъ разныхъ лицъ. По даннымъ книги графа де-Ловенжуля „Un roman d'amour“ и мелкимъ его статьямъ, „русскія отношенія“ Бальзака представляются въ слѣдующихъ несомнѣнныхъ фактахъ.

Будущая супруга романиста была первоначально одною изъ многочисленныхъ невѣдомыхъ ему его литературныхъ „поклонницъ“. Эвелина (Ева) Ржевуцкая, впослѣдствіи Ганская, родилась въ м. Погребищѣ, Бердичевского уѣзда, Кіевской губерніи, въ 1805 году. Семья ея была многочисленна. Имущественныя невзгоды заставили родителей Эвелины искать для нея партіи прежде всего „выгодной“, какая и нашлась въ лицѣ Венцеслава Ганскаго, бывшаго старше невѣсты на двадцать пять лѣтъ. Свадьба состоялась въ 1822 году и Ганскіе поселились въ имѣніи своемъ, м. Вер-

ховнѣ, Сквирскаго уѣзда той же губерніи. Надо сознаться, говорить де-Ловенжуль, что богатство было единственною чертою, какую Ганскій могъ поставить въ свой активъ. Онъ былъ много старше жены и характера малообщительнаго, хотя воспитанъ былъ въ Вѣнѣ, въ концѣ прошлаго вѣка, среди одного изъ утонченнѣйшихъ обществъ, какія знаетъ исторія. Въ то время, какъ начались ея сообщенія съ Бальзакомъ, Евелина Ганская была уже матерью пятерыхъ дѣтей.

Семья Ганскихъ жила долгіе годы въ деревнѣ, среди обширныхъ полей пшеницы. Хозяйство лежало на рукахъ мужа, при дѣтяхъ была швейцарка, m-lle Борель; свободнаго времени у молодой женщины было много. Она много читала, выписывала французскіе журналы, слѣдила за литературными новостями, поглащала романы. Подобно современнымъ пожирательницамъ повѣстей Буржэ и Онэ, она съ особеннымъ интересомъ бралась за произведенія, гдѣ изображалась судьба женщины, неравное супружество, „непонятая“ женская душа, любовь замужней женщины, оттѣнки женскаго характера. Великій живописецъ женскаго ума и сердца, Бальзакъ, приковалъ, конечно, ея вниманіе съ появленіемъ первыхъ крупныхъ своихъ произведеній. Она зачитывалась имъ и въ отдѣльных изданіяхъ, и въ получавшейся ею газетѣ „Quotidienne“,—и рѣшилась вступить съ нимъ въ переписку, пользуясь адресомъ его издателя, Гослена.

Инициаторшей этой переписки и даже авторомъ первыхъ писемъ, писанныхъ не рукою Эвелины Ган-

ской, Ловенжюль считаетъ гувернантку-швейцарку, дѣвицу Борель, которая во всякомъ случаѣ играла въ этой исторіи дѣятельную роль. Намъ въ Россіи хорошо извѣстенъ типъ такой гувернантки, очень дружной съ madame, мило, улыбающейся, monsieur, и въ то же время строящей противъ него козни. Благодаря громкому отклику бальзаковской исторіи, эта особа попала теперь даже въ извѣстность. Какой-то соотечественникъ посвятилъ ей въ „Musée Neuchatelois“ біографическую замѣтку, вполне одобряя, разумѣется, ея подозрительную роль въ этомъ романѣ. Письмо отправлено было изъ Одессы, за таинственной подписью „Иностранка“, и заключало въ себѣ смѣсь общихъ разсужденій по поводу изображенія Бальзакомъ женщины и признаній восторженнаго обожанія, питаемаго къ нему пишущей. „Одно слово въ газетѣ „Quotidienne“;—такъ кончалось письмо,—дастъ мнѣ увѣренность, что до васъ дошли мои строки, и что я могу безбоязненно писать вамъ“.

Слово это не замедлило появиться, какъ образчикъ тогда новой, а теперь столь распространенной за границей переписки черезъ газеты. „Г. де-Б., говорилось въ газетномъ объявленіи, получилъ обращенное къ нему письмо. Онъ только теперь можетъ сообщить о томъ при посредствѣ этой газеты и жалѣетъ, что не знаетъ, куда направить свой отвѣтъ“.

Вскорѣ, отъ той же иностранки, Бальзакъ получилъ книгу Өомы Кемпійскаго. Таинственность этихъ посланій заняла его воображеніе. Но надежду на встрѣчу съ незнакомкой дало ему письмо,

полученное лишь черезъ годъ, гдѣ „иностранка“, извѣщая его о полученіи газетнаго сообщенія, писала, что, можетъ быть, ей вскорѣ удастся быть вблизи Франціи, но что объ этомъ она пока можетъ сказать лишь гадательно. „Къ несчастью, я вѣчная раба! — прибавляетъ она. — Я очень желала бы имѣть отвѣтъ отъ васъ, но надо принимать столько предосторожностей, столько увертокъ, что я еще ни на что не могу рѣшиться... Я погибла бы, если бы узнали, что я пишу вамъ и получаю письма отъ васъ“.

Однако, таинственная иностранка добилаь своего и, получивъ заграничный паспортъ, съ мужемъ, дочерью и вѣрной гувернанткой въ томъ же 1833 г. отправилась въ Швейцарію.

Первоо свиданіе Бальзака съ Ганской, какъ видимъ, тщательно ею подготовленное, состоялось въ Нефшатель, въ сентябрѣ 1833 года, въ городскомъ саду, на берегу озера.

О подробностяхъ его существуетъ нѣсколько разсказовъ. По одному изъ нихъ, Бальзакъ явился въ Нефшатель, не имѣя другихъ указаній, кромѣ того, что встрѣча должна послѣдовать въ городскомъ саду, въ такомъ-то часу. Онъ долженъ былъ узнать самъ „иностранку“ между сидящими тамъ особами. Г-жа Ганская, съ книгой сочиненій Бальзака въ рукахъ, замѣтила его издали и узнала безъ труда, благодаря вездѣ распространеннымъ его портретамъ.

Если вѣрить другой версіи, глубокое разочарованіе овладѣло прекрасной полькой при видѣ толстаго и неизящнаго человѣка, какимъ былъ Баль-



закъ. Но онъ быстро сумѣлъ заставить исчезнуть въ иностранкѣ удивленіе и разочарованіе первой минуты ихъ встрѣчи.

Гр. Ловенжуль добылъ подлинное письмо Бальзака къ сестрѣ объ этомъ свиданіи и пяти дняхъ, проведенныхъ имъ въ обществѣ романической кievлянки. „Я счастливъ, очень счастливъ,—пишетъ поэтъ,—но въ мысляхъ только, никакъ не болѣе. Увы, проклятый мужъ не отставалъ отъ насъ въ теченіе пяти дней ни на одну секунду. Онъ вѣчно торчалъ между юбкой своей жены и моимъ жилетомъ. Я былъ какъ на раскаленныхъ угольяхъ. Принужденность рѣшительно не въ моей натурѣ.

„Самое важное—что намъ двадцать семь лѣтъ, что мы удивительно хороши собой, что у насъ чудеснѣйшіе въ мірѣ черные волосы, нѣжная и изумительно тонкая кожа брюнетокъ, очаровательная маленькая ручка и двадцати-семи-лѣтнее сердце и мы такъ неосторожны, что готовы броситься мнѣ на шею на глазахъ всѣхъ“.

„Боже, какъ хороша эта „Поперечная Долина“, Бьенское озеро! Тамъ-то, какъ ты и могла ожидать, мы спровадили мужа хлопотать о завтракѣ. Но мы были на виду и, подъ тѣнью дуба, могли обмѣняться лишь бѣглымъ поцѣлуемъ. Къ тому же, такъ какъ мужу стукнетъ скоро шестьдесятъ, я далъ клятву ждать, а она хранить для меня руку и сердце. Но не остроумно ли заставить мужа сняться съ мѣста и проѣхать шестьсотъ миль, чтобы явиться на встрѣчу возлюбленному, который проѣхалъ, злодѣй, всего лишь мильполтора?—



„Она рассчитываетъ непременно сильно заболѣть въ Женевѣ, чтобы разжалобить русскаго посланника и добиться паспорта для поѣздки въ Парижъ... Какъ бы то ни было, я очаровалъ мужа, а поэтому въ будущемъ году постараюсь имѣть въ своемъ распоряженіи три мѣсяца. Я поѣду взглянуть на Украину, и мы условились сдѣлать вмѣстѣ чудное путешествіе въ Крымъ. Но сколько труда до тѣхъ поръ!..“

Легко завязавшійся романъ имѣлъ продолженіемъ свиданіе въ Женевѣ, въ декабрѣ того же года, продолжавшееся шесть недѣль. Не извѣстно, точно ли Бальзакъ въ такой степени „очаровалъ мужа“, но Ганскій, дѣйствительно, не подозрѣвалъ ничего и былъ даже въ перепискѣ съ Бальзакомъ. Одно изъ его писемъ приведено въ книгѣ Де-Ловенжуля. Извиняясь за его краткость, онъ прибавляетъ съ прелестной наивностью: „зато жена моя шлетъ вамъ длинную болтовню“.

Письменные сношенія Бальзака съ Ганской слѣдовали затѣмъ непрерывно. Иногда ему случалось отвѣчать на письма даже не самому. Однажды онъ поручилъ это сдѣлать одной изъ своихъ пріятельницъ и, такъ какъ письмо составлено было не совсѣмъ ловко, то продѣлка обнаружилась. Ему стоило большого труда подыскать соотвѣтствующія оправданія.

Откровенное письмо къ сестрѣ, выше приведенное, разрушаетъ еще одну легенду, сложившуюся о Бальзакѣ. Онъ признается, что есть пять особъ, отъ которыхъ онъ имѣетъ основаніе скрывать свои сношенія съ г-жей Ганской, и что одна изъ этихъ

особѣ недавно сдѣлалась матерью. Не терпя вмѣшательства въ свою частную жизнь, Бальзакъ, какъ извѣстно, самъ сочинилъ легенду о своей необыкновенной скромности и провелъ ее такъ искусно, что заставилъ вѣрить въ нее и современниковъ своихъ и біографовъ, хотя достаточно одного взгляда на внѣшность великаго романиста, чтобы подивиться въ этомъ случаѣ людскому легковѣрію.

Въ превосходномъ трудѣ о Бальзакѣ Жюльена Лемера („Balzac, sa vie, son oeuvre“. Paris, 1892) находимъ досказаннымъ личный романъ писателя.

Только спустя пятнадцать лѣтъ, наполненныхъ колоссальнымъ трудомъ и огромной литературной производительностью, когда г-жа Ганская была давно вдовою, въ 1848 году, состоялась, наконецъ, поѣздка романиста въ Россію. Онъ возвращается туда въ слѣдующемъ, 1849 году. Это не былъ уже молодой и жизнерадостный человѣкъ, какимъ рисуется его письмо изъ Нефшателя. Непомѣрный трудъ расшаталъ его силы, здоровье его было подорвано. Свадьба окончательно была рѣшена, но она задерживалась неожиданными припадками болѣзни поэта. Разстройство нервовъ доходило у него до крайней степени. Его озабочивали въ это время болѣе всего неоконченныя литературныя работы и предположенія. Онъ желалъ ускорить свадьбу, чтобы вернуться скорѣе въ Парижъ и приняться за трудъ. Въ февралѣ изъ Верхви онъ ѣдетъ въ Кіевъ, чтобы визировать паспортъ. Эта поѣздка была гибельна для его здоровья. Непривычный климатъ отозвался роковымъ образомъ

на его разстроенномъ организмѣ, и русскій морозъ опять побѣдилъ француза, на этотъ разъ истинно великаго и геніальнаго.

Вѣнчаніе состоялось, наконецъ, въ гор. Бердичевѣ, Кіевской губерніи, въ католической церкви св. Варвары, 15-го марта 1849 года. Въ мартѣ и апрѣлѣ Бальзака задержали въ Малороссіи возобновившіеся припадки болѣзни. Въ маѣ онъ былъ въ Дрезденѣ и въ Парижѣ прибылъ совершенно уже больной.

По словамъ друзей писателя и многочисленныхъ очевидцевъ, онъ не нашелъ въ заключительной главѣ своего романа того счастья, на которое рассчитывалъ. Четырехмѣсячное супружество поэта было далеко не безоблачно, и ко времени кончины семейное согласіе было распатано. Смерть его описалъ Викторъ Гюго въ книгѣ „Choses vues“.

Озабоченный слухами о тяжелой болѣзни Бальзака, Гюго отправился къ нему. Его встрѣтила служанка, объявивъ, что „надежды нѣтъ никакой, и *поэтому* барыня уѣхала“. Когда онъ вошелъ въ комнату умирающаго, то засталъ тамъ сестру милосердія, лакея и еще старую женщину, мать писателя. Они одни присутствовали при его кончинѣ.

Въ романѣ Бальзака было, какъ видимъ, много несоотвѣтствія, много искусственнаго. Г-жа Ганская была для него имъ же созданной мечтой, на повѣрку оказавшейся далеко не столь возвышенной. Красавица-полька проявила въ этомъ романѣ много кокетства, увлекалась тщеславіемъ любви

знаменитаго челоуѣка и оставила его въ годину горя. Таково большинство женъ и возлюбленныхъ великихъ людей. Но онѣ не желаютъ довольствоваться памятью просто пріятныхъ, но заурядныхъ женщинъ, какими были на самомъ дѣлѣ, а хотятъ прослыть вдохновительницами и музами поэтовъ, безъ которыхъ чуть ли не было бы и прославившихъ ихъ созданій. Статьи Ловенжуля, съ ихъ подлинными документами, опредѣлили истинное значеніе прекрасной кіевлянки, ставшей женою творца „Человѣческой Комедіи“, пославивъ поэтическихъ прикрасъ, въ какія облекли ее біографы, и въ которыя такъ охотно облекалась она сама.

---

## КЪ БІОГРАФІИ ГР. А. К. ТОЛСТОГО.

---

Жизнь графа Алексѣя Константиновича Толстого извѣстна только по тѣмъ краткимъ внѣшнимъ фактамъ, какіе онъ сообщилъ по просьбѣ Де-Губернатиса въ замѣткѣ, воспроизведенной впослѣдствіи при собраніи его сочиненій. Успѣхъ этихъ сочиненій растетъ въ послѣдніе годы, когда понятія объ искусствѣ сдѣлали нѣкоторые успѣхи въ нашемъ обществѣ, и когда опредѣлилась истинная цѣна преслѣдовавшей поэта партійной и семинарской критики. Драмы А. Толстого не сходятъ съ подмостковъ театровъ всей Россіи; многія изъ его историческихъ балладъ отнесены прямо къ образцамъ русской поэзіи; лирическія ~~пьесы~~ <sup>пьесы</sup> его имѣютъ рьяныхъ поклонниковъ и подражателей, а „Князь Серебряный“, осмѣянный „Современникомъ“, какъ подражаніе Загоскину и Лажечникову, остается все-таки однимъ изъ лучшихъ нашихъ историко-бытовыхъ романовъ \*). Выросла и попу-

---

\*) Съ другой стороны, свѣтскіе знакомые упрекали Толстого за легкій и популярный складъ романа, говоря, что онъ написалъ сочиненіе для чтенія лакеевъ. На это, какъ передаютъ, Толстой отвѣчалъ запальчиво, что считалъ бы себя счастливымъ, если бы его читали и лакеи, которымъ у насъ до сихъ поръ почти и читать нечего.



лярность А. К. Толстого, какъ поэта-юмориста, хотя до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не опредѣлено точно его авторство въ собирательскомъ творчествѣ Кузьмы Пруткова. Но по извѣстнымъ, то появлявшимся въ печати, то ходящимъ въ рукописяхъ сатирическимъ вещамъ, завѣдомо принадлежащимъ А. Толстому, можно, кажется, смѣло сказать, что у Пруткова ему принадлежатъ самыя колкія и веселыя пьесы.

До полной біографіи А. Толстого кое-что могутъ уяснить въ его жизни и личности выдержки изъ его переписки, повидимому, весьма обширной. Нѣсколько лѣтъ назадъ „Вѣстникъ Европы“ напечаталъ рядъ писемъ его къ княгинѣ Витгенштейнъ. Мы имѣли возможность ознакомиться съ пятьюдесятью тремя письмами поэта къ двоюродному брату его, Николаю Михайловичу Будѣ-Жемчужникову. Весьма интересныя для будущаго біографа Толстого письма эти касаются большею частью семейныхъ дѣлъ и въ настоящее время еще не могутъ быть напечатаны. Съ разрѣшенія ихъ владѣльца, здѣсь приводится нѣсколько писемъ описательнаго характера или характеризующихъ натуру и личность самого Толстого. Но для лучшаго пониманія ихъ необходимо нѣсколько біографическихкихъ напоминаній.

Съ материнской стороны А. К. Толстой происходилъ, какъ извѣстно, изъ фамиліи Перовскихъ (дѣти Алексѣя Кириловича Разумовскаго), съ которою связана была вся послѣдующая его судьба. Въ 1817 г., шести недѣль отъ роду, онъ былъ увезенъ изъ Петербурга дядей своимъ, А. А. Перов-

скимъ (въ литературѣ Погорѣльскимъ), воспитавшимъ его и сдѣлавшимъ послѣ смерти своей въ 1836 г. наслѣдникомъ своихъ громадныхъ имѣній. Дѣтство Толстого прошло все или въ Малороссіи, или въ заграничныхъ поѣздкахъ. Семнадцати лѣтъ онъ сдалъ въ Москвѣ университетскій экзаменъ. Послѣ смерти дяди поэтъ служилъ при миссіи во Франкфуртѣ, служилъ нѣкоторое время въ Петербургѣ, поступилъ охотникомъ въ императорскіе стрѣлки, во время Севастопольской войны, былъ сдѣланъ флигель-адъютантомъ при коронаціи императора Александра II, лично очень его любившаго. Но при первой возможности онъ оставилъ всякую службу и жилъ большею частью въ деревнѣ и иногда за границей. Въ Черниговской губерніи ему принадлежало село Погорѣльцы Сосницкаго уѣзда со многими окрестными хуторами. Здѣсь прошло все его дѣтство, и это мѣсто особенно онъ любилъ. Сѣвернѣе, въ Мглинскомъ уѣздѣ, во владѣніи его находились село Красный Рогъ съ громадными лѣсами и небольшимъ „дворцомъ“,—бывшимъ охотничьимъ домомъ гетмана Кирилла Разумовскаго, и нѣсколько окрестныхъ деревень. У него было также имѣніе Пустынка подъ Петербургомъ, такъ что въ общемъ земельныя владѣнія его были, вѣроятно, не менѣе 40 тысячъ десятинъ.

Въ пятидесятихъ годахъ гр. А. Толстой встрѣтился въ обществѣ и сблизился съ Софьей Андреевной Миллеръ, рожденной Бахметовой, съ которой и повѣнчался нѣсколько лѣтъ спустя послѣ взятаго ею развода. Вѣнчанье происходило въ одномъ изъ германскихъ городовъ, въ греческой

церкви; шаферами при этомъ были корреспондентъ его въ приводимыхъ ниже письмахъ Н. М. Жемчужниковъ и гр. Бобринскій.

Первыя изъ печатаемыхъ писемъ относятся къ тому времени, когда А. Толстой, послѣ долгаго отсутствія, переѣхалъ съ женою въ деревню, поселившись въ Погорѣльцахъ. Въ этой усадьбѣ долгіе годы жилъ А. Перовскій. Большой деревянный двухъэтажный домъ, въ которомъ жилъ здѣсь съ матерью въ дѣтствѣ Толстой, существуетъ и теперь, и неизмѣнными остались на антресоляхъ занимавшіяся имъ комнаты. Домъ окруженъ англійскимъ паркомъ, разбитымъ извѣстнымъ садоводомъ Фишеръ-фонъ-Вальдгеймомъ \*).

Описаніе Толстого имѣетъ въ виду именно эту усадьбу, гдѣ, кромѣ жены его, находились въ то время многіе изъ ея родственниковъ, Бахметевы, и между ними малолѣтній племянникъ ея Андрей Петровичъ Бахметевъ. Этого ребенка особенно любилъ Толстой и его дѣтскія сказки художественно воспроизводитъ въ своихъ письмахъ. А. П. Бахметевъ умеръ въ ранней молодости мичманомъ флота и похороненъ въ Красномъ Рогѣ. Двоюродный братъ и другъ Толстого, Николай Мих. Жемчужниковъ, которому писаны письма, во время попечительства въ Москвѣ родственника его, гр. Уварова, служилъ въ Москвѣ, управляя московской университетской типографіей. Со всѣми братьями Жемчужниковыми А. К. Толстой былъ

---

\*) Въ 1905 году Погорѣльцы варварски разгромлены крестьянами - погромщиками. Домъ и всѣ постройки разграблены и сожжены.

особенно близокъ и друженъ. Въ письмахъ своихъ онъ постоянно вспоминаетъ ихъ. Въ бумагахъ, разсмотрѣнныхъ нами, много отрывочныхъ карточекъ, записокъ, къ нимъ обращенныхъ, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующаго стихотворнаго „приглашенія“ къ Алексѣю и Николаю Мих. Жемчужниковымъ:

Милыя дѣти, васъ просятъ обѣдать.  
 Дайте посланцу отвѣтъ;  
 Нуженъ отвѣтъ, чтобы повару вѣдать,  
 Сколько состряпать котлетъ

Записка сопровождается фантастическими „Мѣсто печати“ и „Въ руцѣ лѣто“. Двое изъ братьевъ Жемчужниковыхъ, Алексѣй Мих. и Владиміръ Михайловичъ, были членами тріады, извѣстной въ литературѣ подъ именемъ Кузьмы Пруtkова. Но обращаемся къ самымъ письмамъ.

1. *Погорѣльцы, 28-го ноября 1858 г.* Любезный другъ, во-первыхъ, постарайся пріѣхать; отъ Москвы всего много-много 500 верстъ, да и того не будетъ. Я зову всѣхъ твоихъ братьевъ (моихъ двоюродныхъ). Чего добраго пріѣдетъ и Владиміръ. Во-вторыхъ, будучи въ Чуфутъ-Кале, я возобновилъ знакомство съ однимъ изъ образованнѣйшихъ и пріятнѣйшихъ людей, а именно съ караимскимъ раввиномъ Беймомъ. Онъ написалъ исторію караимовъ и хотѣлъ печатать оную въ Симферополѣ. Исторія эта чрезвычайно любопытна и безпристрастна и служить лучшимъ отвѣтомъ на другую исторію, недавно явившуюся и раскритикованную въ „Атенеѣ“. Я ему совѣтовалъ послать свой трудъ прямо къ тебѣ и печатать его въ университетской типографіи, для чего и далъ ему твой адресъ. Итакъ, когда получишь рукопись, тисни ее безъ пошады. Если бы недоставало у него финансовъ, я радъ буду подвинуть (avancer) сотни двѣ рублей, разумѣется, чѣмъ меньше, тѣмъ лучше.

А между тѣмъ, все-таки пріѣзжай, если не можешь зимой,



то приѣзжай весной, а еще бы лучше приѣхать зимой и встрѣтить здѣсь весну. Погорѣльцы—одно изъ самыхъ дикихъ, тѣнистыхъ и оригинальныхъ мѣстъ, съ сосновымъ боромъ, огромнымъ озеромъ, заросшимъ камышами, гдѣ весной миллионы утокъ и всякой болотной дичи, которую стрѣляютъ на лодкахъ. Домъ старый, полуразрушенный, но теплый. Садъ заросшій, съ огромными деревьями всѣхъ сортовъ. Домовъ въ кучкѣ здѣсь четыре; дворъ также покрытъ старыми деревьями въ родѣ лѣса. Здѣсь очень большая и даже хорошая библіотека, но книги большей частью старинныя; есть хорошія и рѣдкія изданія, какъ напр., большое описаніе Египта, составленное по распоряженію Наполеона, и множество очень старинныхъ книгъ о магіи. Изъ флигеля, въ которомъ онѣ были, мы переносимъ ихъ въ спальную Софьи Андреевны, гдѣ онѣ покроютъ всѣ стѣны. Столько же книгъ и, кромѣ того, древнія рукописи есть и въ Красномъ Рогу, отсюда 120 верстъ, но я не рѣшился ихъ выписать, потому не знаю, умѣстятся ли. Охота теперь: козья, медвѣжья, лосиная и кабанья, не считая лисицъ, волковъ, тетеревей, куропатокъ и огромнаго количества рябчиковъ. Я выписалъ польскаго ловчаго, нѣмцевъ заткнетъ за поясъ, хотя и не поетъ; „Es kann doch nicht immer so bleiben hier unter dem scheinenden Mond!“. Онъ даже совсѣмъ не поетъ, ниже по-польски. Изъ Погорѣлецъ можно ѣздить всякій день въ новое красивое мѣсто; есть и хутора, есть и Блестова, другое лѣсистое, дикое и сильно симпатическое мѣсто, 40 верстъ отсюда. Скажу тебѣ, Николаюшка, приѣзжай, жалѣть не будешь. Есть здѣсь отвратительная сосѣдка, которая, кажется, ѣздить больше къ намъ не будетъ, ибо не встрѣтила въ насъ сочувствія своему образу мыслей, который состоитъ въ томъ, что она, со слезами на глазахъ, соболѣзнуетъ о томъ, что разрушается союзъ любви и смиренія и страха между помѣщиками и мужиками черезъ уничтоженіе крѣпостного состоянія. У нея есть кошка, вся избитая ея крѣпостными людьми за то, говоритъ она, что они знаютъ ея къ ней привязанность. У нея также есть сынъ, отличный, говорящій въ присутствіи матери въ пользу освобожденія, при чемъ онъ сильно кричитъ, а она затыкаетъ уши, говоря: „Ахъ, ахъ, страшно слышать!“ Я звалъ его къ намъ почаще, но, кажется, его не пускаетъ



мать. Если прїѣдетъ Алексѣй, я ожидаю большого наслажденія отъ визита, который уговорю его сдѣлать со мною этой сосѣдкѣ“.

Въ слѣдующемъ листкѣ, посланномъ въ догонку перваго, А. К. Толстой возвращается опять къ описанію Погорѣльцевъ, въ оригинальной формѣ перечисленія всего въ нихъ или близъ нихъ находящагося. Изъ этого пестраго и умышленно-беспорядочнаго нагроможденія названій сама собою встаетъ картина заброшеннаго барскаго жилья, стоявшей много лѣтъ необитаемою старинной усадьбы, въ которую опять ворвалась жизнь людей новаго поколѣнія. Типическія черты этихъ „дворянскихъ гнѣздъ“ сами по себѣ теперь уже любопытны для историка; для біографа же А. Толстого онѣ имѣютъ то значеніе, что все это образы, окружавшіе его дѣтство и запавшіе навсегда въ его молодое воображеніе.

П. „... Здѣсь есть мебели изъ карельской березы, семеро дѣтей малъ-мала меньше, красивая гувернантка, гувернеръ малаго размѣра, беззаботный отецъ семейства, бранящій всѣхъ и все на подобіе тебя, братъ его съ поваромъ, готовящіе всякій день какія-нибудь новыя кушанья, діаконъ *bon vivant*, краснѣющій попъ, конторщики съ усами разныхъ цвѣтовъ, добрый управитель и злая управительница, скрывающаяся постоянно въ своемъ терему, снигири, подорожники, сороки, волки, похищающіе свиней среди бѣла-дня на самомъ селѣ, весьма красивыя крестьянки, болѣе или менѣе плутоватыя приказчики, рябые и съ чистыми лицами, колоколь въ два пуда, обои, представляющіе Венеру на синемъ фонѣ съ звѣздами, баня, павлины, индѣйки, знахари, старухи, слывущія вѣдьмами, кладбище въ сосновомъ лѣсу съ ледяными сосульками, утромъ солнце, печи, съ трескомъ освѣщающія комнату, старый истопникъ Павелъ, бывшій прежде молодымъ человекомъ, кобзари, слѣпые, старый настройщикъ фортепьяновъ, поющій „Хвала.

хвала тебѣ, герой“ и „Слався симъ, Екатерина“ и „Mon coeur n'est pas pour vous, car il est pour un autre“, экипажъ, называющійся бѣда на колесахъ, другой, кажется, называющійся ферзикъ, старинная карета Елисаветъ Петровны, крысы, горностаи, ласочки, волчьи ямы, ветчина, щипцы, починикъ, вареники, наливка, Семеновка, маленькія ширмы, балконы, 500 луковицъ цвѣточвыхъ, старыя тетради, Андрейка и черносливъ, пляшущіе медвѣди, числомъ четыре, очень старая коровница, полъ изъ покрашенныхъ сосновыхъ досокъ, Улинскій (?), Гапки, Оксаны, Ганны, Домахи, пьяные столяры, таковые же башмачники, загоны въ лѣсу, пасѣнки, бисеръ, вилочки, экраны, сбруя мѣдная, сѣрыя лошади, медъ въ кадкахъ, землемѣры, заячьи слѣды, два пошире, а два поменьше, бортовая ель передъ церковью, Тополевка съ Занкевичемъ, свиньи на улицахъ, огородъ съ прутиками, означающими четыре стороны свѣта, волшебный фонарь, курицы, моченые яблоки, сумерки съ постепенно замирающими сельскими звуками, вдали выстрѣлы, собачій лай, ночью пѣтухи, ни съ того ни съ другого кричаціе во все горло, пасмурные дни, изморозь, иней на деревьяхъ, внезапно показывающееся солнце, два старыхъ турецкихъ пистоleta, рабочіе столики, чай на длинномъ столѣ, игра въ кольцо, которое повѣшено на палочкѣ и которое надлежитъ задѣть за крючокъ, вбитый въ стѣну, сушеные караси, клюква, преждевременно рождающіеся младенцы, къ неимовѣрному удивленію ихъ отцовъ, кн. Голицынъ, братъ Павла, живущій въ тридцати верстахъ; наступающій праздникъ Рождества, литографическая машина, совершенно испорченный органъ, также испорченный, сумасшедшій механикъ, множество мухъ, ожившихъ отъ теплоты, множество старыхъ календарей, начиная отъ 1824 года, билліардъ, стоящій въ кладовой и вовсе негодный къ употребленію, сухія просвиры, живописные пригорки, песчаные, поросшіе сосныкомъ, чумаки съ обозами, вечерницы, мельницы, сукновальни, старый фонарь, старые картузы, модели молотильныхъ машинъ, портретъ кн. Кочубея, портретъ графини Канеринной, раниры, трости изъ бамбука, курильница въ видѣ древней вазы, алебастровая лампа, старая дробь, огромный диванъ съ двумя шкапчиками, два мохнатыхъ щенка, сушеные зайцы, клѣтка безъ птицъ и разбитое кругленькое

зеркало, — прѣзжай, Николаюшка, и все увидишь собственными глазами.

„Очень прошу тебя устроить, чтобы редакція „Русскаго Вѣстника“ прислала мнѣ журналы: Черниговской губерніи, Стародубскаго уѣзда, на станцію Елѣнку“.

III. *Погорѣлицы, 19-го января 1859 г.* „Николаюшка, во-первыхъ, какъ бы это было хорошо, если бы ты улучилъ минуту провести съ нами весну. Во-вторыхъ, вотъ тебѣ три сказки, сочиненныя Андрейкой.

1.

Разъ въ сильный дождикъ бегемотъ и слонъ летѣли вмѣстѣ по воздуху (безъ крыльевъ, а такъ только шевелили ногами). Только слонъ толкнулъ бегемота. Тогда бегемотъ отклеилъ ему носъ и прилетѣлъ домой и завернулся въ теплое ватное одѣяло.

2.

Одинъ злой пряникъ долго дрался съ дурнымъ и хитрымъ апельсиномъ и наконецъ его побѣдилъ.

3.

Одинъ чиновникъ поѣхалъ на пароходѣ въ Одессу; и сначала ничего, а потомъ его стало рвать. Тогда его лакей, Семенка, посадилъ его въ корыто и вымылъ, какъ слѣдуетъ, теплой водой. Конечъ.

Есть еще четвертая сказка, сочиненная давно, но которую я узналъ недавно. Вотъ она:

Былъ одинъ англичанинъ, у котораго вездѣ были фонтаны: и въ носу, и въ животѣ, и въ рукахъ, и въ ногахъ. И онъ ѣхалъ въ коляскѣ, а фонтаны все брызгали, все брызгали. Конечъ.

Прерываю мое письмо, получивъ твое насчетъ эпитафиа, скажу эпилога къ „Іоанну Дамаскину“. Беру тебя за твои косматые уши и цѣлую многократно въ твои косматые уста. Дай срокъ и я буду тебѣ отвѣчать въ стихахъ, какъ отвѣчалъ уже Аксакову по другому случаю. Развѣ ты не знаешь, что

въ поэзиі можно назвать *горнею высотой* ту сферу, въ которой находится Государыня въ отношеніи къ гражданамъ Россіи? А что ея взоръ можетъ и долженъ быть животворящимъ, въ этомъ, моя милая шапка, ты не можешь сомнѣваться, когда даже и твой собачій взоръ былъ животворящъ для университетской типографіи. При этомъ случаѣ скажу тебѣ, что не помню, писалъ ли я тебѣ, или нѣтъ, какъ мы всѣ радовались тому, что ты сдѣлалъ? Если не писалъ, то теперь пишу. Ты, можетъ быть, радовался вѣнскому пирогу, который ты, я знаю, очень любишь, а мы радовались и твоему дѣльному преобразованію и той любви, которую ты приобрѣлъ. Это лучше всякаго пирога, повѣрь мнѣ. Продолжаю письмо, прерванное тобою. Мы увѣрили Андрейку, что въ Погорѣльскихъ лѣсахъ есть звѣрь, называемый *маркеломъ*. Онъ долго вѣрилъ и даже выдумалъ съ другими дѣтьми игру: чиновникъ и маркель. Но кто-то его разувѣрилъ, къ моему несчастію, и онъ теперь отзывается о маркелѣ съ презрѣніемъ. Но я успѣлъ его увѣрить, что есть другой звѣрь, антипъ, и этому онъ вѣритъ.

Не замедли отвѣчать. Христосъ съ тобою, задорная тварь“.

Пьеса, послужившая основаніемъ для возраженій А. К. Толстого въ этомъ письмѣ, есть извѣстное „посвященіе“ его стихотвореній. Корреспондентъ поэта выражалъ опасеніе, какъ бы совершенно искреннее чувство, въ ней выраженное, не было истолковано въ смыслѣ искательства или другихъ подобныхъ побужденій, что, какъ мы знаемъ, и случилось потомъ. Дѣло въ московской университетской типографіи, о которомъ говорится дальше,—это выхлопотанное Н. М. Жемчужниковымъ, за нѣсколько лѣтъ до эманципациі, освобожденіе рабочихъ этой типографіи изъ крѣпостного состоянія, въ которомъ они находились, и переводъ ихъ на издѣльную повинность. Признательные бѣдняки-рабочіе поднесли тогда г. Жем-



чужникову тортъ, „вѣнскій пирогъ“, который, чтобы не обидѣть ихъ, онъ принялъ. Этотъ эпизодъ переданъ подробно въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ 1899 года, № 3. Шутникъ, какимъ былъ Толстой, высказывается еще разъ въ слѣдующей короткой запискѣ, заключающей кстати и каламбуръ, которыхъ онъ не былъ также врагомъ. Кто-то передалъ ему, что княжна Щербатова, бывшая тогда невѣстой гр. Уварова, извѣстнаго впослѣдствіи археолога, нечаянно ударила его по глазу,—и каламбуръ былъ готовъ.

IV. *Погорѣльцы, 22-го января 1859 г.* „Благодатный Николаюшка! У меня сидитъ кн. Александръ Васильевичъ Голлицынъ, добрая мордофляга, живущая по сосѣдству и приказавшая тебѣ кланяться. Она знаетъ Пруткова наизусть, что доказываетъ, что она добрая. Хорошо было бы тебѣ пріѣхать весенней порой на нее посмотреть. Я ее видѣлъ въ купальнѣ голую, а потомъ не узналъ, тѣмъ болѣе, что она съ брюшкомъ и въ бородѣ. Пришли, батюшка Николаюшка, печатную книжку по-англійски: „Le Ministère de l'enfance“. Dites à Ouvaroff que je suis fâché que sa fiancée lui ai donné dans l'oeil».

Пятое письмо относится къ литературнымъ сношеніямъ и стихотворству А. Толстого, начавшемуся въ пятидесятыхъ годахъ, когда ему было уже за тридцать лѣтъ.

V. *Погорѣльцы, 25-го января 1859 г.* „Во-первыхъ, пришли мнѣ непременно альманахъ „Утро“, которое должно было взойти 1-го января. Во-вторыхъ, обнимаю тебя и очень люблю. Въ-третьихъ, ты вѣтрогонъ, сирѣчь забубенная голова, сирѣчь вертопрахъ, сирѣчь юноша не солидный, ибо ты забылъ мою просьбу сказать Каткову (котораго имя я, разумѣется, забылъ, равно какъ и его жилище), что мой адресъ: Черниговская губ., въ Еліонку. Изъ этого произошло, что я еще не получилъ ни одного экземпляра „Вѣстника“. Поправь свою

ошибку, поди къ этому Никифоровичу (что ли?) и попроси его послать мнѣ „Вѣстникъ“ въ Еліонку. Я же не замедлю и этотъ годъ снабдить его стихотвореніями, и такъ всѣ останутся довольны, и иностранные принцы перестанутъ удивляться. Въ-четвертыхъ, вотъ тебѣ отвѣтъ на хулы, изрыгавныя тобою въ прошедшемъ письмѣ, если хочешь, можешь это тиснуть, гдѣ пожелаешь“.

Слѣдуетъ извѣстное стихотвореніе „Пусть тотъ, чья честь не безъ укора, страшится мнѣнія людей!“ печатающееся во всѣхъ изданіяхъ сочиненій А. Толстого, а въ изданіяхъ 1896 г. находящееся на страницѣ 247-й.

Въ заключеніе, какъ неожиданный переходъ, приводится „Новая сказка Андрейки“:

„У одного турки былъ стеклянный носъ. Онъ его печаянно сломалъ. Тогда на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде былъ носъ, выросли дубы. Пришли пуговицы, сломали дубы и закричали ура!...“

Первые стихотворные опыты А. Толстого относятся къ началу пятидесятихъ годовъ, и та же первая половина этихъ годовъ была расцвѣтомъ дѣятельности знаменитаго Кузьмы Пруткова. Вдохновляя группу друзей - сотрудниковъ, открывавшихъ міру творчество „директора пробирной палатки“, будучи ея душой и главнымъ дѣятелемъ, А. Толстой и самостоятельно разбрасывалъ шутки и экспромты на всякіе стихотворные случаи и забавныхъ лицъ. Въ записныхъ книжкахъ Н. М. Буди — Жемчужникова нашлись два наброска Толстого, относящіеся къ началу 50-хъ годовъ и времени ихъ совмѣстной жизни въ Петербургѣ. Приводимъ ихъ, какъ образецъ шутливыхъ домашнихъ импровизаций Толстого, нерѣдко прибѣгавшаго къ стихотворной формѣ въ записочкахъ,

листочкѣ и дружеской перепискѣ и т. п. Однажды Толстой шлетъ такое посланіе:

Горька намъ, Николай,  
 Была твоя утрата,  
 Къ обѣду пріѣзжай,  
 И привези намъ брата.  
 Отсутствіемъ твоимъ  
 Отчасти пораженъ,  
 Вчера я былъ одинъ  
 У...вой плѣненъ.  
 Самъ храбрый Бирюлевъ  
 И звонкій Опочининъ\*)  
 Явились безъ штановъ  
 И вечеръ былъ безчиненъ...

Въ другой разъ онъ повѣствуетъ въ стихахъ о юношѣ, который, навязываясь въ родственники къ нѣкому важному барину, понесъ за то чисто „родственную“ кару. Экспромптъ этотъ озаглавленъ „Неожиданное наказаніе“:

Толстый юнкеръ Арапетовъ,  
 Въ этотъ новый годъ,  
 Взявши дюжину браслетовъ,  
 Къ дядюшкѣ несетъ.  
 Онъ къ Арапову приходитъ:  
 — „Дяденька, — браслетъ!“

---

\*) Извѣстный въ то время пѣвецъ-любитель.

Видя бронзу, тотъ находитъ,  
 Что родства де-нѣтъ.

Оробѣлъ нашъ Арапетовъ,  
 Услыхавъ отвѣтъ:

„Мой племянникъ лишь Бекетовъ“.

—Ну, такъ я вашъ внукъ?

И вся дюжина браслетовъ

Выпала изъ рукъ...

—„Внукъ ты мой? Такъ какъ же, сирѣчь—

Значить, я вашъ дѣдъ?

Ну, такъ я васъ долженъ высѣчь

И принять браслетъ“...

Длинный рядъ писемъ гр. Алексѣя Толстого, прочитанныхъ нами послѣ приведенныхъ выше, касается семейныхъ отношеній поэта, и такъ какъ онъ писалъ лицу самому дружественному и близкому, то о дѣлахъ этихъ онъ высказывается здѣсь съ полной откровенностью. Не касаясь вовсе лицъ, скажемъ, что суть состоитъ въ томъ, что А. Толстой, обожая свою жену, очутился въ „родственныхъ объятіяхъ“ многочисленной родни своей супруги. Тяжесть положенія осложнялась тѣмъ обстоятельствомъ, что сама супруга его, по добротѣ своей, роднѣ этой покровительствовала и любила ее, поэтъ же долженъ былъ терпѣть безцеремонное отношеніе къ его добру, вмѣшательство въ его дѣла и большія, совершенно непроизводительныя траты изъ горячей любви къ женѣ. Разказами о различныхъ эпизодахъ этой трагикомедіи полны



письма Ал. Конст. къ своему двоюродному брату, почему они не подвергаются оглашенію. Упоминаемъ здѣсь объ этомъ обстоятельстве лишь какъ о важномъ для біографіи Толстого и вліявшемъ на всю его жизнь и творчество. Нѣсколько строкъ одного изъ писемъ поэта покажутъ лучше всего его отношеніе къ помянутымъ лицамъ и ихъ сущность.

„Разница между X и Z слѣдующая: X слышалъ когда-то, очень давно, что есть на свѣтѣ деликатность. Что именно она значить, онъ навѣрно не знаетъ, но знаетъ, что она гдѣ-то есть. Z же никогда объ ней не слыхалъ и, если бы ему о ней заговорили, онъ спросилъ бы: Что это такое? А когда захотѣли бы ему растолковать ее, онъ бы не понялъ, не повѣрилъ и разсмѣялся въ глаза истолкователю. Однимъ словомъ—это гадина почти наивная“. (Письмо отъ 13-го марта 1865 г.).

Минорный тонъ писемъ поэта затихаетъ лишь тогда, когда ему удастся отрѣшиться отъ родственныхъ дѣлъ и вырваться за границу. Шутливый и веселый нравъ поэта проявляется тогда вновь, какъ, напр., въ слѣдующемъ письмѣ изъ Карлсбада:

VI. Carlsbad 6 Sept (25 Aug.) 1870. „Спасибо тебѣ, милый другъ, за твое письмо изъ Clarence-Villa. Я его получилъ вчера, въ самый день моего рожденія, т.-е., не 26-го, а 24-го августа. Презентъ сдѣлалъ не лоснящемуся лбу у Элефанта, а очень милой Жозефинѣ, Caffé-Salon. Впрочемъ, презентъ состоялъ изъ розана, который я вынулъ изъ петлицы и вручилъ ей между первой и второй пуговицами шпензера, за что она съ благодарностью пожала мнѣ руку. У нея лобъ не свѣтитсѣ, но очень свѣтятся зубы. Ты говоришь: „Положи себѣ за правило не ходить по горамъ“. Но для чего же я ѣзжу въ Карлсбадъ, если не для того, чтобы учиться ходить по

горамъ? И даже скажу тебѣ, что предстательствомъ всѣхъ святыхъ, равноапостольнаго князя Владимира, Александра Невского, Зосимы и Вареоломея и благословеніемъ Богоотца Іоакима и Анны, я недурно сталъ ходить. Но, разумѣется, я себя не насилую, а хожу тихо и постепенно всякій день все выше и больше. Здѣсь находится M-me Sch... k, и принуждаетъ меня иногда ходить съ нею. Не могу слишкомъ на это жаловаться, потому что она позволяетъ мнѣ молчать, а сама говоритъ. Но иногда она дѣлаетъ мнѣ вопросы такого рода: — Всякій вы годъ говѣете? А на отвѣтъ мой, что не всякій, спрашиваетъ: Почему? Потомъ спрашиваетъ, съ должнымъ ли благоговѣніемъ я исповѣдаюсь? На что я ей отвѣчаю, что, если говѣніе благо, то, безъ сомнѣнія, тутъ заключается и благоговѣніе. Отъ этого я нѣкоторымъ образомъ проникнуть елею. Напротивъ того, когда я былъ здѣсь съ Гагаринымъ, то мы чокались подъ совѣмъ иную пѣсню. Надобно быть всегда параллельнымъ къ обстановкѣ, сказалъ мудрецъ“...

---

По случаю 25-лѣтней годовщины смерти гр. А. Толстого было сообщено нѣсколько подробностей о его болѣзни и смерти. Вотъ нѣсколько свѣдѣній о томъ же изъ записной книжки Н. М. Буды-Жемчужникова, любезно имъ намъ сообщенныхъ:

„Я пріѣхалъ къ А. Толстому въ августѣ въ день его рожденія и, увидѣвъ его, замѣтилъ, что онъ очень нехорошо выглядитъ. Онъ очень обрадовался мнѣ, цѣловалъ меня и смѣялся.

— „А я себя чувствую несравненно лучше, совѣмъ здоровѣлъ, говорилъ онъ мнѣ,—и все это, благодаря морфину. Спасибо тому, кто посоветовалъ мнѣ морфинъ!

„Будучи передъ этимъ больнымъ въ Парижѣ, А. Толстой лѣчился у знаменитаго доктора Test. Кто-то изъ близкихъ посоветовалъ ему попробовать вспрыскиванія морфина, для чего обратились къ доктору Hardy. Test сидѣлъ у Толстого,

когда доложили о приѣздѣ Hardy. Онъ всталъ и простился съ Толстымъ, сказавъ:

„—Adieu, cher comte, c'est l'empoisonneur qui est arrivé.

„Въ день моего приѣзда въ Красный Рогъ я его послѣдній разъ видѣлъ за обѣдомъ. Странно, что за столомъ въ этотъ день было 13 человекъ. Ночью онъ очень заболѣлъ. Сдѣлалось нервное сотрясеніе всего организма. Кромѣ страданія, ему представлялись странныя видѣнія. По словамъ доктора Величковского, онъ, между прочимъ, видѣлъ себя отдѣлившимся отъ себя. Когда его въ первый разъ послѣ припадка принесли въ гостиную, у него лицо было ужасно жалкое и выраженіе какое-то растерянное. Онъ не разъ повторялъ: „Самому злѣйшему врагу не пожелаю этого... Какъ я страдалъ!.. Что я чувствовалъ!“...

„Съ приѣздомъ доктора Величковского здоровье его какъ будто стало лучше, но онъ все продолжалъ дѣлать впрыскиванія морфиномъ, и я убѣжденъ, что онъ впрыскивалъ гораздо болѣе, чѣмъ позволилъ ему докторъ.

„А. Толстой въ жизни своей не дорожилъ никакими вещами, что называется цѣнными. По приѣздѣ моемъ онъ съ любовію показалъ мнѣ серебряный карандашъ, подаренный ему Императрицей Маріей Александровной.

„Никогда еще въ жизни моей не имѣлъ я такого пріятнаго карандаша,—сказалъ онъ мнѣ.

Этотъ карандашъ былъ украденъ изъ дому въ день его кончины. Кромѣ карандаша, онъ, какъ драгоценность, берегъ морфинъ въ шкатулкѣ, оправленной серебромъ, и ключъ постоянно носилъ при себѣ. Онъ начиналъ сердиться, когда пробовали убѣждать его бросить впрыскиванія морфина.

„16-го сентября я вновь приѣхалъ къ нему. Никогда до тѣхъ поръ я не былъ свидѣтелемъ припадка астмы. Но въ это время за нѣсколько дней до кончины такой припадокъ случился съ Толстымъ.

„Въ сосѣднемъ залѣ Маркевичъ игралъ на фортепіано. Вдругъ музыка замолкла, всѣ бросились въ гостиную. Смотрѣть

на него было невыразимо тяжело, страданія его были ужасныя. Ему впустили морфинъ. Страданія прекратились. Онъ что-то заиѣлъ по прекращеніи страданій и былъ веселъ, какъ будто ни въ чемъ не бывало.

„По всему видно было, что дни Толстого сочтены, но докторъ увѣрялъ, что кончина не можетъ послѣдовать внезапно. И вдругъ 25-го сентября Толстой пустилъ себѣ новую дозу морфина и, вѣроятно, въ большомъ количествѣ, потому что въ стеклянкѣ его осталось очень мало. Мнѣ показалось, что онъ не въ своемъ разсудкѣ. Когда его вынесли въ гостиную, то онъ задыхался и вовсе не своимъ голосомъ сказалъ: „Какъ я себя хорошо чувствую!“ Въ этотъ день его перенесли въ спальню, и оттуда онъ больше уже не выходилъ. Лошади были запряжены, чтобы кататься, но онъ, заснувши въ креслѣ, болѣе уже не просыпался. Вечеромъ 28-го сентября, въ 8½ час., его не стало. Долго будили его, думая, что онъ заснулъ отъ морфина. Наконецъ, камердинеръ поднесъ ко рту зеркало, — дыханья не было. Потомъ стащили его на полъ...

„Выраженіе лица его, когда его вынесли въ гостиную на столъ, было спокойное и доброе, и такое молодое, какимъ я помнилъ его двадцать лѣтъ назадъ“.

Похороненъ гр. А. К. Толстой въ Красномъ Рогѣ, близъ церкви. Тамъ построены склепъ-часовня, въ которомъ покоится теперь и гр. С. А. Толстая. Каменный склепъ, въ девять аршинъ длины и довольно высокій, увѣнчанъ куполомъ въ русскомъ стилѣ. Входъ въ склепъ задѣланъ навсегда, вслѣдствіе ненадежнаго и буйнаго характера мѣстнаго населенія и отсутствія необходимаго за памятниками надзора. Поселившись въ Красномъ Рогѣ, наслѣдникъ А. К. Толстого засталъ кладбище въ ужасномъ видѣ: усыпальницы на старомъ кладбищѣ были превращены въ конюшни, такъ что черезъ нотаріуса онъ долженъ



былъ напомнить мѣстному священнику объ обязанности его надзора за порядкомъ кладбищъ. Въ виду этого, и надгробный склепъ гр. А. Толстого закрыть наглухо и отличается особой прочностью постройки, обезпечивающей могилу поэта отъ всякихъ случайностей \*).

---

---

\*) Прилагаемъ снимокъ съ неизвѣстнаго досель въ печати портрета гр. А. К. Толстого въ охотничьемъ платьи.

## ПОЭТЪ, ОТКРЫТЫЙ ГОГОЛЕМЪ.

---

Въ одной изъ книжекъ „Premiers Lundis“, въ статьѣ о Гоголѣ, Сентъ-Бевъ упоминаетъ имя поэта Белли, о которомъ говорилъ ему Гоголь, во время совмѣстнаго переѣзда изъ Рима въ Марсель. Характеристику личности и творчества этого поэта представилъ недавно профессоръ Haguenin, безъ всякихъ, конечно, соображеній о Гоголѣ, имя котораго онъ, впрочемъ, упоминаетъ, но въ фразѣ, весьма странно построенной. „По счастливой и лестной для насъ случайности, говоритъ Гагененъ, имя Белли въ книгу европейской критики первымъ записалъ Сентъ-Бевъ“. И вслѣдъ затѣмъ онъ приводитъ то мѣсто статьи Сентъ-Бева, гдѣ говорится о встрѣчѣ его съ Гоголемъ и горячемъ и убѣдительномъ отзывѣ послѣдняго о Белли, съ подлинными сочиненіями котораго ни тогда ни послѣ Сентъ-Бевъ лично не былъ знакомъ. Кто же настоящій виновникъ „счастливой случайности“, сдѣлавшей извѣстнымъ имя Белли, и какой литературѣ принадлежитъ лестный фактъ его открытія?

Помимо художественнаго чутья и вкуса, Гоголю, поклоннику и почти старожилу Рима, оцѣнить Белли помогло знаніе римскаго или транстеверин-

скаго нарѣчія, на которомъ писалъ Белли,—одного изъ двѣнадцати областныхъ итальянскихъ говоровъ, знаніе римской жизни, глубокой интересъ къ простонародію, ко всему непосредственному, самородному, и тѣ многочисленныя созвучныя ноты, какія отзывались въ унисонъ его музѣ въ строкахъ итальянскаго народнаго пѣвца. Кто, кромѣ истинныхъ художниковъ слова, давалъ тогда цѣну народному творчеству? А Гоголь выросъ на немъ. Прозорливымъ окомъ поэта и въ малоросійскихъ пѣсняхъ, и въ сказкахъ, и въ римскихъ сонетахъ онъ читалъ повѣсть народной души, какъ въ раскрытой книгѣ.

Имя римскаго рапсода выплываетъ изъ забвенія полвѣка спустя послѣ его дѣятельности. Цюрихскій ученый Бовэ издалъ книгу „Римскій народъ 40-хъ годовъ по сонетамъ Белли“. Занимаются имъ въ Германіи. Для своихъ соотечественниковъ Белли становится источникомъ бытовыхъ чертъ и „человѣческихъ документовъ“ прошлаго, матеріаломъ для нравственныхъ и общественныхъ выводовъ. Для насъ интересъ его въ томъ, что правилось въ немъ Гоголю, въ чемъ сошелся съ нимъ нашъ провидецъ-поэтъ, что было у нихъ общаго.

Белли — пѣвецъ и изобразитель римскаго общества тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ прошлаго вѣка,—главнымъ образомъ римскаго простонародья. Столь славному древними воспоминаніями, своеобразному, живописному, интересному римскому народу выпала удача быть цѣликомъ представленнымъ въ своихъ правахъ и языкѣ поэтомъ, проникнутымъ его духомъ, внимательнымъ наблю-

дателемъ его нравовъ и повадокъ. Широкому распространенію сочиненій Белли мѣшаетъ то, что они писаны на діалектѣ. Литературная исторія большею частью обходитъ такія произведенія. Они требуютъ особаго изученія языка и нравовъ. Обычной эрудиціи и классическаго критеріума для оцѣнки ихъ недостаточно. Изъ діалектальныхъ сочиненій всѣхъ литературъ сонеты Джузеппе-Джіовакино Белли принадлежатъ къ вещамъ самымъ свѣжимъ и яркимъ.

Белли родился въ Римѣ въ 1791 году въ семьѣ чиновника. Онъ въ ранней юности лишился родныхъ и средствъ, и испыталъ всѣ невзгоды. Перебиваясь то службою въ конторѣ, то частнымъ секретарствомъ, поэтъ читаетъ, учится и начинаетъ писать. Но долгое время онъ пишетъ банальныя, напыщенныя вещи, не имѣющія никакой цѣны. Душа его не находитъ выхода, искренность нигдѣ не пробивается на свѣтъ. Въ 1816 году онъ женится, начинаетъ путешествовать, приобретаетъ обширныя знакомства. Его всегда живая наблюдательность особенно изощряется. Въ 1827 году въ Миланѣ онъ покупаетъ книжку стиховъ народнаго поэта Карло Порта, и долго таившееся собственное призваніе открывается ему.

Онъ увидѣлъ, какое поле дѣятельности представляютъ ему давнія и любимыя наблюденія надъ народною жизнью, и какимъ живымъ подспорьемъ въ изображеніи этой жизни будетъ живописный родной его діалектъ. Отбросивъ всякую напыщенность и декламаторскій тонъ, онъ посвящаетъ себя новому роду сочинительства. Въ противоположность



прежнимъ, новыя сочиненія Белли совершенно объективны. Двѣ тысячи сто сорокъ сонетовъ на транстеверинскомъ нарѣчїи, написанныя въ теченіе десяти лѣтъ лучшей его дѣятельности, — полны не самимъ Белли, а приключеніями, разговорами, привычками, поступками, мыслями и рѣчами римскаго простонародья. Въ монологахъ или діалогахъ выражается здѣсь только этотъ народъ: рассказываетъ о себѣ, рисуетъ себя, выявляетъ прямо и всецѣло. Смѣхъ, жалобы, любовныя сцены, ссоры, разговоры на улицѣ, въ трактирѣ, на дому, семейныя картинки, политическія и богословскія бесѣды, всѣ секреты и всѣ явныя зрѣлища, ремесла, типы, предразсудки, мнѣнія, всѣ виды ума и глупости, суевѣріе наряду съ свободомысліемъ, шутовство рядомъ съ набожностью, насмѣшка передъ лицомъ отчаянія — все громоздится, смѣшивается и живетъ въ этихъ сонетахъ — въ громадной панорамѣ, отражающей приливъ, водоворотъ и прибой толпы, постоянно смѣняющейся...

Лучшее время Белли — 1830—35 годы, когда онъ, казалось, изнемогалъ отъ образовъ и торопился перелить ихъ въ слово. Въ одномъ 1833 г. онъ написалъ 367 сонетовъ. Въ другіе годы поэтъ писалъ по двѣсти-триста пьесъ. Съ 1835 г. дѣятельность его ослабѣваетъ и совершенно прекращается въ 1849 году. Постепенно потухалъ оживлявшій его энтузіазмъ, жизненныя заботы снова одолѣли его, произошелъ поворотъ въ его настроеніи и чувствахъ.

Вторая половина жизни Белли мрачна и печальна. Онъ раздружился съ своею бодрою музой

и пишетъ плоскіе панегирики папамъ Григорію и Пію IX. Еще дальше онъ дѣлается нелюдимымъ и полнымъ мизантропомъ. Онъ хотѣлъ сжечь всѣ свои сонеты, при жизни его извѣстные лишь въ рукописяхъ и устной передачѣ,—и только усиліями друзей они были спасены. Онъ умеръ въ 1861 г. Извлеченные изъ забвенія и напечатанные въ 1868 году сонеты Белли приобрѣли новую извѣстность и послужили могучей поддержкой другимъ діалектальнымъ литературнымъ попыткамъ, процвѣтающимъ въ Италіи и въ наши дни.

---

Мы на улицѣ, слышимъ ея шумъ, рѣчи прохожихъ. Лавочники, ремесленники, рабочіе, чиновники, слуги — всѣ посвящаютъ насъ въ свои дѣла и дѣла сосѣдей, толкуютъ о важныхъ и мелкихъ новостяхъ, политическихъ обстоятельствахъ, городскихъ приключеніяхъ:

Какія ужасныя преступленія, синьоръ Стріоно, — это похуже, чѣмъ во времена Нерона! Связать соннымъ бѣднаго домовладѣльца и бросить въ одной сорочкѣ въ колодезь... Завязать горло бѣлымъ платкомъ, набить ротъ паклей, засунувъ ее палкой въ самую глотку! И все это, чтобы украсть кольцо и четыре экю. Стоило ли, спрашиваю васъ, затѣвать весь этотъ отвратительный погромъ? Вы хотите убить чело-вѣка? Берите ножъ и убивайте его, по крайней мѣрѣ, какъ добрый христіанинъ!

Всякое происшествіе вызываетъ столь же простосердечныя размышленія, и событія cadaго дня толкуютъ такимъ же образомъ... Вечеромъ ряды всегда открытыхъ экипажей тянутся въ двухъ на-правленіяхъ по узкому Корсо, и зѣваки разпра-

шиваются о проѣзжихъ, заставляютъ называть имена, извѣстныхъ лицъ, болтая о вчерашнемъ театрѣ, о завтрашнемъ благословеніи папы, о своихъ семейныхъ дѣлахъ и интересахъ. Встрѣчаются два погребальщика:

— А, дядя Занти! Кажется, не ошибаюсь?—Синьоръ Паткаль!—Доброй ночи.—Спасибо, добрый вечеръ! — А что твой братъ? — Угодилъ въ каторгу.— А жена? — Въ больницѣ. — Какъ дѣлшки, хороши? — Нѣтъ, прескверны. — Съ какихъ поръ?—Да съ самой холеры.—Говорятъ, она будетъ опять?—Даль бы Богъ.—Мнѣ сказалъ одинъ докторъ.—А мнѣ аптекаръ.—Сколько на этой недѣлѣ?—Эхъ, насилу двое! — А на прошлой?—Ни одного.—А на зашлой?—Одинъ, чтобъ ему пусто! — Переѣхъни приходъ.—Толку мало!—А что говоритъ священникъ?—Говоритъ то же, что и я: что времена совсѣмъ стали плохи!

Уличный торговецъ зонтиками бранить солнце, полицейскій—ненасытное любопытство туристовъ, извозчики—скупость сѣдоковъ... На Піаца-Монтора, за укрѣпленіями, изъ рядовъ выпряженныхъ телѣгъ, пирамидъ плодовъ, за крестьянами-продавцами и мелкимъ людомъ-покупателями, въ углахъ, въ тѣни засѣдаютъ уличные писцы, съ выбритыми лицами учителей, съ огромными очками на носахъ, съ руками, окутанными въ затѣйливыя манжеты. Они прославляютъ свое искусство и удивительное изящество своей бумаги, листы которой покрываютъ столъ, изукрашенный сердцами, пронзенными, истекающими кровью, пылающими. Кліентамъ не надо долго ждать. Письма всякихъ сортовъ готовы. Стоитъ только заполнить пустыя мѣста именемъ или званіемъ адресата... Всѣ профессіи подаютъ голоса. Столяръ, акушерки, прода-

вещь игрушекъ, поваръ, портной, кузнецъ, переплетчикъ, докторъ, лудильщикъ—каждый является съ своимъ особымъ языкомъ, своими заботами, тщеславіемъ, шутками, хитростями.

„Свѣжи ли мои рыбы?—говоритъ рыбный торговецъ кухаркѣ.—Смотрите хорошенько, когда поставите въ печь, чтобъ онѣ оттуда не выскочили!“

Римляне проводятъ много времени внѣ дома, и достаточно выйти на улицу, чтобы ихъ встрѣтить. Не то ихъ жены. Чтобы узнать ихъ, надо приблизиться къ ихъ жилью: хозяйки сидятъ больше дома. Однако нѣтъ надобности входить въ дома, чтобы слышать ихъ. Кумушки гараторятъ, спорятъ и переговариваются изъ окошка въ окошко. Идетъ обмѣнъ врачебными средствами, заклинаніями или особыми молитвами, содѣйствующими выигрышу въ „лото“, помогающими отыскивать потерянные вещи или спасающими отъ „дурного глаза“. Передаются страшные рассказы о привидѣніяхъ, вѣдьмахъ. Предлагаются вопросы о ближайшихъ прогулкахъ, сговариваются итти вдвоемъ, втроемъ въ церковь, гдѣ выставлены Святые Дары. Одна проситъ въ заемъ корсетъ, другая спрашиваетъ гребешокъ, третья кастрюлю.

— Кастрюля у меня занята.

— Ну такъ дайте щепотку петрушки, немного перцу и жаровню.

— Сейчасъ спущу все это въ корзины.

Этимъ способомъ сообщаются съ нижними этажами и съ разносчиками: привязанная къ концу веревки корзина избавляетъ отъ необходимости бѣгать постоянно по лѣстницамъ.



— Послушайте, дайте мнѣ также немного чесноку, жиру и капельку вина. — Однако, сорь Бетина, мало-по-малу, какъ вижу, вы хотите забрать у меня всю мою провизію... Эй, сестрица Настасія! — Что скажете, душечка? — Позвольте вы выставить на солнце два тюфляка? — Охотно бы позволила, дорогая, но мнѣ нужна вся крыша. — Да вѣдь только два! — Выставьте немного позже, при мѣсяцѣ. — Такъ вотъ вы какъ? Знайте же, что вы мерзавка!

Ссоры часты. Эти почтенныя хозяйки живутъ въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ, самолюбіе у нихъ такъ развито, раздражительность такъ смѣла, а языки такъ длинны! Римлянки обладаютъ богатѣйшимъ запасомъ оскорбительныхъ словъ, выразительность которыхъ не допускаетъ никакой возможности перевода...

Но жизнь ихъ не вся проходитъ въ перебранкахъ и праздныхъ бесѣдахъ. Белли ведетъ насъ въ ихъ домашнюю обстановку, въ лучшіе часы этихъ женъ и матерей. Онъ умѣетъ обрисовать двумя-тремя чертами бѣдное жилье, обычный кругъ старыхъ и молодыхъ лицъ, привлекательность мирныхъ занятій, привычные образы семейнаго быта...

Здѣсь — старшая дочь кормить изъ ложки малолѣтка; отецъ курить; одинъ изъ сыновей ѣстъ хлѣбъ и редиски, а мать раздуваетъ мѣхами уголья въ жаровнѣ. Въ другомъ мѣстѣ мать, уже умершую, замѣняетъ старуха-бабушка; когда отецъ возвращается домой, часъ спустя послѣ Ave Maria она оставляетъ прялку, разводитъ огонь, накрываетъ на столъ — и предъ семейю появляется салатъ или ломтики жаренаго мяса, но столъ тонкіе, что сквозь нихъ виденъ свѣтъ, какъ сквозь ухо. Четыре орѣха — и обѣдъ оконченъ. Медленными глотками часъ или два пьется вино, въ то время какъ бабушка собираетъ со стола, моетъ и вытираетъ посуду. И, когда

показывается доньшко литра, читають *Salve Regina* и ложатся спать съ миромъ...

Завсегдатаи площадей и улицъ, говоруны, любители зрѣлищъ и игръ, но люди храбрые и высоко ставящіе понятіе о чести, — таковы мужчины-римляне въ сюжетахъ Белли. Души его женщинъ не сложны: немного болѣе набожности здѣсь, нѣсколько больше злорѣчія тамъ, — вотъ вся разница. Мужчины представляютъ у него черты болѣе опредѣленныя. Имъ представляется болѣе случаевъ проявить нагляднѣе свою своеобразность. Они думаютъ, дѣйствуютъ, разсуждаютъ. Какъ у всѣхъ людей, мало занятыхъ, у нихъ большой запасъ философіи. И ихъ философія разрѣшаетъ имъ не дѣлать ничего и оставаться тѣмъ, что они есть.

Они прежде всего безпечны и расточительны. Они открыто презирають бережливость. Зачѣмъ наполнять кошелекъ? Не лучше ли наполнить желудокъ? Это мораль, которую воспѣвалъ въ одной изъ своихъ одъ Гораций. Всѣ римляне его ученики. Они друзья долгихъ бесѣдъ, долгихъ трапезъ. Послѣднія они ждуть, предвидяють, смакують. Они разсказываютъ о нихъ потомъ въ выраженіяхъ, блещущихъ, подобно ихъ глазамъ, чувственными словами...

Вмѣстѣ съ жизнерадостностью, они совмѣщаютъ какъ-то и фатализмъ пессимистическаго оттѣнка, причиной чему можетъ быть ихъ лѣность, не ведущая къ добру. Вотъ какъ устами Белли разсказываютъ они, напримѣръ, обыкновенную исторію жизни:

Сперва пеленки, ноцѣлуи, молоко, слезы... Дальше школьная мука: азбука, кнутъ, холодъ зимой, корь, поносъ, скарлатина, оспа. Потомъ — трудъ, голодъ, усталость, плата за квартиру, тюрьма, власти, долги, госпиталь...

Реальныхъ чертъ этого рода — цѣлый міръ въ сюжетахъ Белли. Для нашей задачи нѣтъ надобности умножать болѣе образцы и выписки. Читая Белли, — говоритъ его критикъ, — какъ будто бродишь среди сутолоки жизни. Здѣсь узнаешь людей съ первой встрѣчи съ ними, угадываешь ихъ мысли, восстанавливаешь себѣ ихъ существованіе, мечтаешь объ ихъ судьбѣ и забываешь объ авторѣ произведеній, какъ онъ самъ забываетъ о себѣ.

Белли совершенный реалистъ. Пусть очистятъ это слово, чтобъ получить точный его смыслъ, отъ всякихъ грубыхъ излишествъ, отъ всѣхъ „научныхъ“ претензій, которыя только затемняютъ его значеніе. Конечно, Белли не институтски-стыдливъ. Онъ даже нескроменъ. Изъ шести томовъ, составляющихъ наиболѣе полное изъ вышедшихъ собраній его сочиненій („Sonetti romaneschi“ 1896 г.), одинъ томъ состоитъ изъ сонетовъ нескромныхъ, который, — чтобъ покарать сластолюбіе или поощрить его, не разберешь, — продаютъ особо, въ запечатанномъ пакетѣ, и втрое дороже чѣмъ остальные тома. Ихъ напрасно выдѣляютъ особо, заставляя тѣмъ, какъ водится, обращать на нихъ еще большее вниманіе. Подобно другимъ его сонетамъ, они выражаютъ, безъ намѣренной и порочной цѣли, народныя мысли и повадки. Въ нихъ та нескромная, но здоровая шутка, какую видимъ у Аристофана, или у Пушкина, но ничего болѣз-

неннаго и соблазнительнаго. Ихъ нескромности, часто забавныя, наивны. Белли написалъ эти сонеты, какъ и другіе, чтобы быть правдивымъ. Въ этой заботѣ о естественности, правдивости выражается реализмъ Белли. Онъ реалистъ изъ художественнаго чувства, какъ всѣ искренніе писатели, безъ предвзятой доктрины или школы.

Ничто не ускользаетъ отъ него изъ окружающаго. Даже пошлость жизни воспроизводится имъ съ искусствомъ, дающимъ ей значеніе и комическій рельефъ. Конечно, легко быть правдивымъ, рисуя глупость. Но Белли не только правдивъ, но и забавенъ. Онъ запечатлѣваетъ самыя легкіе оттѣнки смѣшнаго съ какой-то изящной шутливостью. Сонеты его испещрены шутками, изъ которыхъ нѣтъ ни одной, какая не отзывалась бы почвой, мѣстомъ и читая которую не представляли бы себѣ сейчасъ же образъ человѣка изъ народа, что ее произносить, его подмигиванья, его полунаивный видъ, до самаго звука его голоса...

Стихи Белли чужды общихъ мѣстъ и всякаго усилія. Вездѣ выраженіе отвѣчаетъ мысли, а мысль и выраженія—народныя. Впечатлѣнія запечатлѣны въ словахъ, отъ которыхъ они кажутся неотдѣлимыми. О задачѣ своей жизни Белли говоритъ въ предисловіи къ сонетамъ: „Я хочу оставить памятникъ того, чѣмъ было римское простонародье въ мое время...“ Задачу эту онъ исполнилъ.

Таковъ поэтъ, съ которымъ Гоголь познакомился въ первые же мѣсяцы своего пріѣзда въ Римъ, въ первое время упоенія Римомъ и Италіей. Извѣстно, какъ поразила его эта страна и



этотъ городъ, которые онъ называлъ „родиною его души, гдѣ душа его жила прежде него, прежде чѣмъ онъ родился на свѣтъ“.

Подхвативъ названіе „эпопей“, данное Риму кн. Вяземскимъ, онъ говорилъ тогда, что „читаетъ, читаетъ эту эпопею и до сихъ поръ не можетъ добраться до конца. Чтеніе его безконечно“... \*). Какъ поэта и бытописателя, его занимаютъ и природа и люди „вѣчнаго города“. Въ 1838 году, на второмъ году по водвореніи въ Римѣ, онъ пишетъ ученицѣ своей, М. П. Балабиной: „Я теперь занятъ желаніемъ узнать римскій народъ во всей глубинѣ, весь его характеръ слѣжу его во всемъ, читаю всѣ народныя произведенія, гдѣ только онъ отразился, и скажу, что, можетъ, быть это первый народъ въ мірѣ, который одаренъ до такой степени эстетическимъ чувствомъ, невольнымъ чувствомъ понимать то, что написано только пылкою природою, на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейскій умъ не набросилъ своей узды“... „Вамъ вѣрно не случилось, продолжаетъ онъ, читать сонетовъ нынѣшняго римскаго поэта, Белли, которые, впрочемъ, нужно слышать, когда онъ самъ читаетъ. Въ нихъ столько соли и остроты, совершенно неожиданной, такъ вѣрно отражается жизнь нынѣшнихъ транстеверянъ! Они писаны на *lingua romanesca* и не напечатаны“... И онъ ведетъ далѣе рѣчь о другихъ сатирическихъ итальянскихъ писателяхъ XVII и XVIII вѣковъ,—

---

\*) „Письма Гоголя“, изд. подъ ред. Шенрока. Спб. 1902. Т. I, стр. 435, 461 и 494.

autori burleschi, — о которыхъ никто не знаетъ въ Европѣ, несмотря на все ихъ остроуміе и десятки томовъ ихъ произведеній.

Приведенная цитата, выражая непосредственно мнѣніе Гоголя о Белли, говорить совершенно опредѣленно и о времени его увлеченія этимъ поэтомъ. Само собою опредѣляется отсюда и время знаменательной встрѣчи Гоголя съ Сентъ-Бевомъ. Она произошла въ августѣ 1838 года, а не въ 1843 году, какъ полагалъ авторъ одной анонимной статейки объ этомъ предметѣ \*). Единственный разъ въ жизни, въ томъ году, Гоголь совершалъ переѣздъ моремъ изъ Италіи во Францію для свиданія съ Данилевскимъ. Странно, что столь свѣдущій въ біографіи Гоголя писатель, какъ В. И. Шенрокъ, не устанавливаетъ опредѣленно времени этого знакомства двухъ писателей, а оставляетъ вопросъ открытымъ \*\*).

Къ этому же времени относится и единственное произведеніе, въ которомъ Гоголь изобразилъ свое „второе отечество“. Это тѣ главы изъ несуществовавшей повѣсти „Анунціата“, которая безцеремонно и грубо, противъ желанія автора и чуть ли не „за долгъ“, но въ концѣ концовъ на наше счастье, подъ названіемъ „Римъ“ напечаталъ въ своемъ журналѣ Погодинъ. Единственный разъ, взявшись за не русскую тему, Гоголь поддался силѣ просившихся наружу думъ и впечатлѣній Орывокъ былъ еще въ 1839 году читанъ авто-

---

\*) Газета „Порядокъ“ 1881 г. № 35.

\*\*) Шенрокъ „Матер. для біогр. Гоголя“, IV, 412.

ромъ Аксаковымъ. Поглощенный весь своимъ романомъ, онъ никогда больше не возвращался къ нему.

Та полнота души, которой дышетъ этотъ дивный отрывокъ, глубина мысли, яркость и сила слова выражаютъ всецѣло чувство и мысль Гоголя. Параллель мишурной, какъ онъ называлъ ее, или промышленной европейской цивилизаціи съ спокойной простотой природы и искусства Италіи, составляющая основную мысль „Рима“, представляетъ выводъ и настроеніе нашего поэта. Но въ подробностяхъ быта, въ характеристикѣ нравовъ римскаго простонародья, несомнѣнно, Белли былъ для него, чужеземца, полезнымъ и симпатичнымъ толкователемъ.

Страницы въ „Римѣ“ и еще болѣе въ письмахъ, посвященные этому народу, „сильному, непочатому, котораго какъ будто съ умысломъ не коснулось европейское просвѣщеніе и не водрузило въ груди его своего холоднаго усовершенствованія“, — встрѣчаютъ созвучныя ноты въ сонетахъ Белли. Но особенно близки черты комическія, сценки, гдѣ появляются римскія женщины, впечатлительныя, любопытныя, сварливыя, болтуньи или „незанятыя граждане, умѣющіе только красиво драпироваться не весьма надежными плащами“. Изъ нихъ долженъ былъ выдѣлиться синьоръ Пепе, дѣйствующее лицо повѣсти, типичный римскій простолюдинъ, смѣтливый, безпечный, одаренный пылкимъ воображеніемъ, страстный игрокъ: *il vero Romano*. Но повѣсть осталась ненаписанной..

Уцѣлѣвшія ея страницы были невольнымъ от-

кликомъ художника на слишкомъ живыя впечатлѣнія и не скоро предназначались для печати. Душа его принадлежала инымъ явленіямъ и иной жизни. А по по поводу отъѣзда его за границу уже раздавались голоса обвиненія его въ измѣнѣ своему призванію, даже въ нелюбви къ родинѣ, и онъ долженъ писать Погодину \*).

Я не люблю нашей неизмѣримой, нашей родной русской земли? Я живу уже около года въ чужой землѣ, вижу прекрасныя небеса, міръ, богатый и искусствами и человѣкомъ. Но развѣ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить всякаго? Непреодолимою цѣпью прикованъ я къ сво, ему и нашъ бѣдный, неяркій міръ нашъ, наши курныя избы, обнаженные пространства предпочелъ я небесамъ лучшимъ-привѣтливѣе глядѣвшимъ на меня. И я ли послѣ этого не могу любить своей отчизны \*)

Это было время созданія „Мертвыхъ Душъ“. Римъ, Италія, новыя впечатлѣнія, все отошло скоро на второй планъ, и одна мысль, одна цѣль осталась въ жизни Гоголя. И если онъ сохранилъ интересъ къ Белли (бесѣда съ Сентъ-Бевомъ происходила годъ спустя послѣ сейчасть приведенныхъ словъ), то не столько какъ къ изобразителю Рима, какъ къ поэту-реалисту, безтрепетно отражавшему „мелочь жизни“, которую и въ новомъ своемъ созданіи хотѣлъ всю охватить онъ самъ. Мы видимъ изъ драгоценныхъ записныхъ книжекъ Гоголя, изъ его переписки, какъ въ это время страстно гоняется онъ за самыми непосредственными, самими живыми чертами русскаго быта, какъ заботливо собираетъ ихъ, чтобы под-

---

\*) Письма I, 435.



вергнуть потомъ безошибочному художественному суду. Несмотря на обширныя свои знакомства и сношенія, послѣ кончины Пушкина, Гоголь, какъ художникъ, былъ совершенно одинокъ. Въ европейской литературѣ тридцатые годы были расцвѣтомъ романтизма. Создателю нашего художественнаго реализма любо было видѣть усилія и смѣлость безхитростнаго, почти народнаго писателя, который въ наброскахъ, причудливыхъ и мгновенныхъ, въ рамкахъ, можетъ быть, узкихъ, все же стремился къ выраженію той правды жизни, передачу которой Гоголь считалъ задачею искусства.

Литературныя преданія передаютъ другой фактъ этого рода, гдѣ поддержкой писателя, гениальнаго и знаменитаго, является авторъ маленькій, забытый и тоже діалектальный. Въ своихъ воспоминаніяхъ о Байронѣ Стендаль рассказываетъ о венеціанскомъ поэтѣ Бюрати, стихи котораго дали англійскому поэту мысль шутливыхъ строфъ „Беппо“, перешедшихъ потомъ въ октавы „Донъ-Жуана“, гдѣ поэтъ отбросилъ уже всѣ условныя стѣсненія, всѣ оковы плана и формы и предоставилъ своему уму свободно играть всѣми своими лучами.

„Лордъ Байронъ смѣялся“, пишетъ Стендаль \*) когда ему сказали впервые, что существуетъ не одинъ итальянскій языкъ, а десять языковъ, что миланское нарѣчіе, напримѣръ, могло предъявить въ то время двухъ замѣчательныхъ поэтовъ—То-

---

\*) Stendhal (N. Beyle) „Racine et Shakespeare“ P. 1854, p. 284: „Lord Byron en Italie“.

массо Гросси и Карлине Порта; что изъ девятнадцати милліоновъ итальянцевъ только обитатели Рима, Съены и Флоренціи говорятъ подобіемъ литературнаго языка. Сильвіо Пелико сказалъ однажды Байрону: самый красивый изъ десяти или двѣнадцати языковъ, которыхъ даже не подозреваютъ по ту сторону Альповъ—языкъ венеціанскій. Венеціанцы—это французы Италіи.—У нихъ, значитъ, есть какой-нибудь комическій поэтъ?—Да,—отвѣтилъ Пелико,—и превосходный, только, такъ какъ онъ не можетъ ставить своихъ комедій на сценѣ, то пишетъ ихъ въ формѣ сатиръ. Этого превосходнаго поэта зовутъ Бюрати, и каждые полгода венеціанское правительство садитъ его въ тюрьму.

„Эти слова Сильвіо Пелико, по моему мнѣнію, имѣли большое вліяніе на поэтическую судьбу Байрона. Онъ жадно спросилъ имя издателя сочиненій Бюрати.

„Такъ какъ лордъ Байронъ освоился уже съ миланскимъ добродушіемъ, то собесѣдники его позволили себѣ отвѣтить взрывомъ смѣха. Ему сказали, что если Бюрати явилась бы охота провести свою жизнь въ тюрьмѣ, то для этого вѣрнѣйшее средство было напечатать свои сочиненія. Но гдѣ взять смѣлаго печатника?

„На другой день я принесъ ему рукописный сборникъ сонетовъ Бюрати. Лордъ Байронъ, воображавшій, что знаетъ языкъ Данта и Аріосто, не понялъ сперва ничего въ этихъ стихахъ. Мы прочли съ нимъ нѣсколько комедій Гольдони, и послѣ этого онъ попробовалъ вновь читать очаро-

вательныя шутки *Omo*, *Strofe* и др. Мы имѣли даже дерзость сообщить ему экземпляръ игривыхъ сонетовъ, названныхъ *Baffo*. Какое преступленіе въ глазахъ Соути! Какъ жаль, что ему въ свое время не былъ извѣстенъ этотъ возмутительный фактъ!

„По моему мнѣнію, если лордъ Байронъ написалъ „Беппо“ и поднялся потомъ до „Донъ-Жуана“, то не малое вліяніе оказали тутъ стихи Бюрати. Никогда не видѣлъ я чего-либо, что произвело бы на кого большее впечатлѣніе“...

Извѣстно по многимъ примѣрамъ вліяніе маленькихъ писателей на великихъ, не имѣющее въ себѣ ничего умаляющаго для послѣднихъ. Однѣ и тѣ же темы встрѣчаемъ у Марлоу и Гете, Тирсо ди-Молина и Байрена, Нарѣжнаго и Гоголя. Право литературнаго первенства принадлежитъ сказавшему послѣднее, т.-е. самое совершенное слово. Что касается такихъ, почти простонародныхъ, діалектальныхъ поэтовъ, какъ Бюрати, Белли, то ихъ сила въ ихъ простотѣ, въ прямомъ, не заслоненномъ ни чужимъ умомъ, ни чужими пріемами, изображеніи вещей. Какъ ребенокъ въ сказкѣ Андерсена, они говорятъ прямо то, что видятъ, предъ чѣмъ въ минуту нерѣшительности иногда еще остановятся безконечно превосходящіе ихъ талантомъ художники слова. Вотъ откуда ихъ вліяніе на такихъ художниковъ. Въ природѣ обновляющая сила, а эти наивныя пѣвцы, какъ и невѣдомые создатели чисто народной поэзіи,—та же стихія и та же природа.

---

## СОБСТВЕННЫЕ РОМАНЫ РОМАНИСТКИ.

---

Говорятъ, что въ наше время замѣчается измѣненіе характера частной переписки. Письма стали, можетъ быть, многочисленнѣе, чѣмъ прежде, но носятъ дѣловой характеръ, и мало кто облачаетъ въ эпистолярную форму свои чувства, мысли и сужденія. Едва ли, впрочемъ, это относится къ любовной перепискѣ. Быть можетъ, и она стала менѣе многословной, идя прямо къ дѣлу. Но, безъ сомнѣнія, она продолжаетъ процвѣтать. Отличные знатоки по этой части, французы, свидѣтельствуютъ о томъ въ безчисленныхъ романахъ и драмахъ. И когда героиня какой-нибудь пьесы восклицаетъ, обращаясь къ герою: „Rendez moi mes lettres“, зритель видитъ, что дѣло плохо и что въ адюльтерѣ наступаетъ отбой.

Но не всѣ герои возвращаютъ любовныя письма. Нѣкоторые хвастливо сохраняютъ ихъ и чрезъ много лѣтъ они выплываютъ на свѣтъ Божій. Никогда, быть можетъ, любовная переписка не процвѣтала въ такой степени, какъ въ началѣ XIX вѣка, въ счастливыя времена „чувствительности“.



И кто болѣе могъ блистать въ ней, какъ не женщина-романистка? Любовныя посланія г-жи Стааль къ разнымъ лицамъ были извѣстны и раньше. Случай обнаружилъ теперь серію писемъ, рисующую знаменитую романистку въ весьма своеобразномъ свѣтѣ. Открыты и преданы тисненію страстныя посланія ея къ португальскому герцогу Пальмелѣ, годъ въ годъ, мѣсяцъ въ мѣсяцъ и число въ число совпадающія съ не менѣе пламенными ея же призывами, обращенными къ поэту Монти, ранѣе напечатанными. Для характеристики г-жи Стааль эта страничка ея жизни имѣетъ немалый психологическій интересъ.

Любовныя увлеченія Коринны были давно вѣдомы, и одинъ изъ ея біографовъ предлагалъ даже раздѣлить ея біографію на главы, носящія названія: „Г-жа Стааль и Бенжаменъ Констанъ“, „Г-жа Стааль и Вильгельмъ Шлегель“, „Г-жа Стааль и гр. де-Нарбонъ“, „Г-жа Стааль и Жорданъ“, „Г-жа Стааль и Талейранъ“ и проч. и проч. Но увлеченія эти располагались все же въ хронологическомъ порядкѣ. Никто не подозрѣвалъ о способности Коринны вести двойную игру и одновременно питать въ сердцѣ два пламени, повидимому, совершенно одинаковой искренности и силы.

Бѣдной великой женщинѣ въ любовныхъ увлеченіяхъ не везло. Почти всѣ они кончились плохо. Весь ея умъ, все краснорѣчіе пассивали передъ наружностью, этой предательской наружностью, которой, увы, придаютъ столь суетное значеніе! У г-жи Стааль былъ не только мужской

умъ, но, къ несчастью, и мужественная внѣшность. „Это единственная женщина, заставляющая забывать свой полъ“, говорили о ней. И этотъ отзывъ, имѣвшій быть величайшей похвалой, въ сердечныхъ дѣлахъ былъ ея смертнымъ приговоромъ.

При этомъ г-жа Стааль желала блистать, быть любимой, быть центромъ вліятельнѣйшихъ кружковъ, вдохновительницей могущественнѣйшихъ людей. Къ чисто сердечнымъ увлеченіямъ у нея примѣшивались иногда честолюбивыя соображенія. Она странно мѣшала любовь съ политикой. Къ Наполеону, рѣзко отразившему ея стрѣлы, она воспылала ненавистью на всю жизнь. Болѣе повезло ей съ ораторомъ и публицистомъ Бенжаменомъ Констаномъ, на нѣсколько лѣтъ сдѣлавшимся ея плѣнникомъ. Однако, и этотъ плѣнникъ покинулъ ее, и не только покинулъ, но и отмстилъ, изобразивъ ея навязчивую страсть въ романѣ „Адольфъ“, ставшемъ во французской литературѣ классическимъ. Амурныя неудачи г-жи Стааль, надъ которыми не мало сокрушались ея участливые біографы, имѣли основаніемъ, къ удивленію, и ея собственную невѣрность, которой она какъ-то наивно не придавала даже значенія. Несмотря на старанія біографовъ, черта эта сказывается у нея нерѣдко. Переписка съ Монти и Пальмелой подтверждаетъ ея окончательно.

\* \* \*

Еще въ 1802 году, изгнанная изъ Франціи Наполеономъ, г-жа Стааль задумала планъ путешествія въ Италію. Въ этомъ путешествіи ее дол-

женъ былъ сопровождать Жорданъ, „котораго она страстно любила“. Но такъ какъ намѣченная жертва отказалась отъ поѣздки въ Италію, то романистка отправилась въ Германію съ Бенжаномъ Констаномъ, котораго любила не менѣе. Три года спустя она ѣдетъ, наконецъ, въ итальянское путешествіе, но одна, безъ охранителя и защитника! Въ печальные промежутки между разбитыми привязанностями сердце романистки недолго оставалось празднымъ. Время успокоенія проводилось не безъ пользы и „бурныя страсти“ смѣнялись болѣе спокойными „симпатіями“.

Въ такомъ настроеніи духа прибыла г-жа Сталь въ 1805 г. въ Миланъ. Поэтъ Монти, человѣкъ семейный, былъ представленъ ей здѣсь и новое „пламя вдохновенія“ засіяло передъ нею. Послѣ двухнедѣльнаго знакомства она считаетъ его уже старымъ другомъ и, покинувъ Миланъ на нѣсколько дней, засыпаетъ его письмами: „Привычка проводить дни съ вами, саго Monti, сдѣлалась для меня столь сладостной, что начинаю писать вамъ съ вечера того дня, когда мы разстались. Но развѣ я познакомилась съ вами? Я лишь узнала въ васъ стараго друга, узнала самое себя. Вы лишь ждали меня. Нашъ союзъ длится уже давно. Развѣ мысли наши не одинаковы? Звукъ вашего голоса заполнилъ мое сердце, и слухъ мой призналъ итальянскій языкъ болѣе благороднымъ съ тѣхъ поръ, какъ начала слышать его изъ вашихъ устъ“.

Это называется брать позицію приступомъ. Боясь, чтобы жертва не вырвалась изъ сѣтей, г-жа

Стааль изъ Пармы пишетъ: Я не хочу пропускать ни одной почты, чтобы не писать вамъ“.

Монти былъ сдержанъ и остороженъ. А г-жа Стааль начала въ это время писать „Коринну“. И по мѣрѣ того, какъ въ романѣ разгоралась любовь Коринны къ Освальду, письма романистки къ поэту, изъ Болоньи и Рима, становились все болѣе страстными. Бѣдному Монти не было отъ нихъ житья.

Она описывала ему свое времяпровожденіе, рассказывала исторію каждаго своего дня. Въ письмѣ отъ 15-го феврала она повѣствуетъ о вечерѣ, данномъ въ ея честь. Въ числѣ гостей, бывшихъ на этомъ вечерѣ, она только вскользь упоминаетъ о герцогѣ Пальмелѣ, португальскомъ повѣренномъ при римской куріи, „весьма пріятномъ молодомъ человѣкѣ“. Рядомъ съ этимъ почти равнодушіемъ, предъ нами собственное признаніе Коринны о сильнѣйшемъ впечатлѣніи, какое произвелъ на нее Пальмела. „Очарованіе было сильнѣе, чѣмъ когда бы то ни было въ моей жизни“. Въ томъ же письмѣ къ Монти г-жа Стааль закликаетъ поэта ѣхать съ нею въ Швейцарію, такъ какъ отъ этого „зависитъ будущее ихъ союза“.

Развитіе плана „Коринны“ сопровождалось развитіемъ собственнаго романа писательницы по возможности по той же программѣ. Романистка тащитъ герцога Пальмелу за собою въ Неаполь и оттуда, въ разгарѣ новаго увлеченія, пишетъ Монти: „Въ Италіи я испытывала лишь четыре радости: видѣть васъ, римскіе памятники, море и



Везувій. И еще васъ и Везувій можно считать за одно и то же явленіе“.

А въ это время пишутся наиболѣе восторженные страницы „Коринны“,—Коринна въ Неаполѣ съ лордомъ Нельвилемъ, „живущая только имъ и для него одного“.

Но герой дѣйствительнаго романа, по мнѣнію романистки, остается все сдержаннымъ и холоднымъ! Романистка сама объясняется ему въ любви, шлетъ восторженные призывы, ничуть не препятствующіе продолженію частыхъ и страстныхъ обращеній къ Монти.

Ухаживанье за сдержаннымъ португальцемъ продолжается два года. Его „тайнственность“ дѣлается, наконецъ, невыносимой и поэтесса уѣзжаетъ изъ Рима во Флоренцію, гдѣ надѣется встрѣтить Монти. Тамъ заодно сорокалѣтняя писательница должна заняться и дѣлами своихъ дѣтей.

Но въ день, когда она покидала Римъ, Коринна шлетъ герцогу Пальмелѣ огромное посланіе въ стихахъ, желая привлечь чарами ума и краснорѣчія. „Не посылаю вамъ на память ни своего портрета, ни волосъ. Я хочу удержать васъ за собою другими средствами“.

Отъ посылки портрета и волосъ, очевидно, удержалъ ее голосъ благоразумія.

Увы, поэма не произвела желаемаго дѣйствія! Это заставило Коринну рѣшительно направить свои стопы во Флоренцію. Но едва пріѣхавъ туда, она пишетъ уже страстное посланіе „своему вдохновителю“, который, повидимому, не зналъ, куда дѣваться отъ нея.

„Я не могла, дорогой Педро, пріѣхать сюда вчера, какъ полагала. Силы мои были истощены жертвою, какую я принесла. Могу вамъ сказать теперь, что если бы вы мнѣ сказали, я бы осталась. Но можетъ быть, вы не сказали ничего изъ деликатности или робости? Я не рѣшилась сказать вамъ, что желала остаться. Какой день провела я послѣ этого! Я упрекала себя, что уѣхала, вспоминала каждое ваше слово... Буду писать вамъ завтра. Сегодня мнѣ остается лишь сказать вамъ, что я люблю и страдаю!“

Эта раздирающая скорбь выражалась въ то время, когда Монти было уже назначено свиданіе въ Миланѣ. Извороты и обходы, къ какимъ прибѣгаетъ романистка, чтобы объяснить въ свою пользу холодность „вдохновителя“, прямо изумительны. При мысли о громадномъ умѣ г-жи Стааль эта борьба таланта съ природою женщины становится просто достойно жалости.

Коринна идетъ на всѣ жертвы, на всѣ уступки. „Если вы то, что я думаю, пишетъ она, вы будете любить меня хоть нѣкоторое время. Не всегда, такъ какъ судьба не создала насъ ровесниками. Но вы не легко уступите другой мое мѣсто въ вашемъ сердцѣ. До этого времени надо, однако, чтобы я увидѣла васъ. Мы должны провести хоть два мѣсяца въ Коллэ или близъ Парижа. Посылаю вамъ всѣ цвѣты, какими украсили мою комнату дѣти и Шлегель...“ Вильгельмъ Шлегель воспитатель ея дѣтей, былъ лицомъ, давно пользовавшимся „расположеніемъ“ романистки.

Въ дальнѣйшихъ строкахъ этого письма Ко-

ринна бросаетъ фразу, для которой нельзя ужъ подыскать никакого оправданія. Какъ надежду, какъ сладкую грезу, она высказываетъ мечту, что, можетъ быть, герцогъ Пальмела „станетъ нѣкогда мужемъ ея дочери“.—„Вчера эта малютка спросила меня, пишетъ совершенно спутавшаяся въ нравственныхъ понятіяхъ Коринна, будетъ ли она въ состояніи одержать побѣду надъ вами?“ И г-жа Стааль распространяется о достоинствахъ своей дочери и о томъ, какой подходящей супругой она могла бы быть современемъ для герцога. Письмо кончается страстными признаніями, заявленіями, что Пальмела узнаетъ себя въ лицѣ лорда Нельвиля, увѣреніями, что природа и древности Италіи ожили и получили для нея смыслъ только благодаря ему. „Два мѣсяца моей жизни—ваше созданіе. Не склонны ли вы подарить мнѣ еще нѣсколько подобныхъ мѣсяцевъ?...“

\* \* \*

Вѣроятно Пальмела оцѣнилъ по достоинству эту мечту романистки о бракѣ съ ея дочерью, такъ какъ хранилъ молчаніе. 12-го и 16-го мая г-жа Стааль пишетъ ему вновь, но не получаетъ отклика. Въ томъ же тонѣ и почти въ тѣхъ же выраженіяхъ 21-го мая она пишетъ Монти. Литературное искусство романистки дѣлаетъ то, что однѣ и тѣ же вещи, повторяемыя разнымъ лицамъ, принимаютъ у нея нѣкоторое разнообразіе. Что касается искренности, то, быть можетъ, она была и неподдѣльною.

„Я люблю васъ глубоко! Никогда не произно-

сила я этихъ словъ иначе, какъ изъ глубины души, —священныхъ словъ, связывающихъ сердца и жизни. Завтра я отправлюсь въ Туринъ и приготовлю для васъ помѣщеніе въ моемъ домѣ. И никогда не видѣтъ вамъ жилья, гдѣ чувства болѣе нѣжныя, истинныя, неизгладимыя встрѣтили бы васъ. Дозавтра! А сегодня цѣлый день безъ васъ? О Боже!“

Это написано къ Монти, но одинаково могло быть обращено и къ Пальмелѣ.

Уѣзжая въ Швейцарію, г-жа Стааль рѣкой разливается передъ Монти въ горестяхъ и страданіяхъ. Одновременно посланіе такого же рода шлетъ она въ Римъ, къ португальцу. Его она увѣряетъ также, „что онъ одинъ заставилъ ее блаженствовать въ Италіи“. Тѣмъ же перомъ она увѣряетъ Монти, что „въ жизни занята только имъ однимъ“. Монти, какъ болѣе податливому, рекомендуется въ письмѣ „спѣшить скорѣе укрѣпить эту привязанность“. Онъ уклонялся нѣскольکو разъ отъ назначенныхъ свиданій и „неумышленно разбивалъ ея сердце“! Но она великодушна. На будущій годъ она обѣщаетъ быть опять въ Италіи. „Соединясь дружно, мы сможемъ бороться противъ превратностей судьбы“. Но для этого необходимо одно условіе: „Надо соединить воедино всѣ свои обстоятельства и быть неразлучными...“

Едва г-жа Стааль удалилась изъ Италіи въ Швейцарію, какъ до нея дошелъ слухъ о предполагавшейся женитьбѣ Пальмелы. Слухъ этотъ весьма непріятно поразилъ романистку, и она



осыпала Донъ-Педро упреками. Вѣсть, по счастью, оказалась ложной. Но явилась новая тревога: Монти, приглашенный г-жей Стааль въ Швейцарію, по пути долженъ былъ встрѣтиться съ Пальмелой. Какія бесѣды могли произойти между ними, какими признаніями они могли обмѣняться?! Судьба отвела, однако, и эту грозу, и пребываніе Монти въ швейцарскомъ уединеніи не было потревожено ничѣмъ. Въ это время, едва успѣла баронесса выразить въ письмѣ къ Пальмелѣ мысль, что „временныя встрѣчи — ничто, и что необходимы привязанности прочныя“, какъ услыхала объ отъѣздѣ Пальмелы въ Португалію. А тутъ покинулъ ее и Монти, а Камиль Журданъ женился и не хотѣлъ даже представить ей свою жену... По счастью, на горизонтѣ появился Матье де-Монморанси. По привычкѣ все повѣрятъ бумагѣ, г-жа Стааль сообщаетъ объ этомъ пріѣздѣ Пальмелѣ, съ которымъ недавно передъ тѣмъ видѣлась, и наивно признается, „что была безутѣшна съ [минуты его отъѣзда... до пріѣзда Монморанси“. Отрада встрѣчи со старымъ другомъ не мѣшаетъ ей впрочемъ восклицать, обращаясь къ Пальмелѣ: „*Emmenez-moi en Espagne!*“ — и въ то же время звать къ Монти: „*Venez encore une fois! venez!...*“ Нѣсколько времени спустя Пальмела, на сей разъ рѣшительно и безповоротно, уѣзжаетъ въ Португалію. Вслѣдъ ему летятъ отчаянныя посланія. Читая ихъ, можно подумать что г-жа Стааль была дѣйствительно неутѣшна. Но вновь возникшая переписка съ Монти, а въ особенности „Дневникъ“ Бенжамена Констана, относящійся къ тѣмъ

же днямъ, убѣждаютъ въ совершенно противномъ...

\* \* \*

Кажется, довольно примѣровъ этой маловѣроятной любовной игры. Она, впрочемъ, далеко не имѣла желаемого успѣха. Но это не измѣнило и не образумило пылкую романистку. Она осталась послѣдовательной и вѣрной себѣ. Въ 1812 году, пятидесяти лѣтъ, она вышла, наконецъ, тайно замужъ за 27-лѣтняго итальянскаго офицера Рокка.

Нѣтъ надобности говорить, что эти печальныя слабости, такъ рѣзко подтвержденныя вновь открытыми письмами, не умаляютъ значенія г-жи Стааль какъ писательницы. Въ книгахъ своихъ она высказала множество новыхъ мыслей, оторвала французскую литературу отъ слѣпотаго слѣдованія за авторами XVIII вѣка, указала новые пути, внесла полезную долю иностранныхъ вліяній и способствовала расцвѣту индивидуализма, какимъ охарактеризовался въ литературѣ XIX вѣкъ.

Ради всего этого можно взглянуть снисходительно на увлеченія г-жи Стааль. Они представляютъ чисто психологическій интересъ. Обладая огромнымъ умомъ и талантомъ, романистка осталась рабой своей женской природы, и ея поступки и увлеченія—не поступки даже Анны Карениной, а поступки полупочтенной ея соотечественницы—г-жи Эммы Бовари.

Даже посторонній наблюдатель путается въ причудливомъ сентиментальномъ узорѣ, сплетенномъ романисткой. Приключенія эти занимали г-жу Стааль, какъ виртуоза, и задачей ея, выра-

жаясь ея собственными словами, было „que chacun fit sa partie dans le concert amoureux“. Но число участниковъ этого предпріятія излишне умножалось и въ музыкѣ нельзя было достигнуть желаемой стройности и согласія.

---

## НОВЫЙ ТРУДЪ ОБЪ ЭДГАРЪ ПОЭ.

---

Громадное изслѣдованіе Ловріера объ Эдгарѣ Поэ \*) кажется самый полный компендіумъ всего, касающагося своеобразнаго поэта, хотя въ англійской и американской литературахъ ему посвящены многочисленныя статьи и книги. Перечень однихъ изъ названій занимаетъ въ сочиненіи Ловріера десять страницъ мелкой печати.

Трудъ Ловріера, необыкновенно усидчивый, многолѣтній, мало напоминаетъ манеру французскихъ изслѣдователей съ ея прекрасной ясностью. Онъ ближе къ тону нѣмецкихъ ученыхъ изслѣдованій, съ ихъ безчисленными примѣчаніями, ссылками, повтореніями, съ неумѣніемъ ввести все въ текстъ и расположить въ стройной послѣдовательности. Но у книги есть недостатокъ еще болѣе важный и, такъ сказать, роковой,—ея предвзятость. Это не біографія, не историко-литературное изысканіе, а „этюдь патологической психологіи“.

Черезъ всю книгу красною нитью проходитъ желаніе представить Поэ дегенератомъ, наслѣдственнымъ алкоголикомъ, дипсоманомъ, человѣ-

---

\*) Emile Lauvrière «Edgar Poë», sa vie et son oeuvre. Paris, 1904, p. XIII + 732, in 8.<sup>o</sup>



комъ вполнѣ ненормальнымъ. Всѣ факты, всѣ его поступки подгоняются подъ эту мысль, объясняются и толкуются ею. Къ этой медицинской точкѣ зрѣнія примѣшиваются еще и узко-буржуазные взгляды. Болѣзненными чертами поэта считаются авторомъ такія его свойства, какъ преданность памяти мертвыхъ, жажда впечатлѣній, вкусъ къ чтенію, даже благодарное презрѣніе къ деньгамъ. Проектъ союза писателей для изданія журнала, съ которымъ носился Поэ, почитается безуміемъ, вліяніе Байрона—несчастьемъ и пагубой...

Объяснивъ личный характеръ и сферу творчества Поэ болѣзненностью и искаженіемъ, Ловріеръ подставляетъ коментаріи изъ сочиненій ученыхъ психіатровъ и торжествуетъ, объяснивъ, по его мнѣнію, все непонятное указаніями ихъ науки. А наука эта чрезвычайно сомнительна. Измысливъ разные этикетки, психіатры воображаютъ, что поняли безконечное разнообразіе человѣческой души и ея безчисленные страданія. Съ отвагою производятъ они приговоры и дошли до нелѣпаго заключенія о родствѣ таланта съ безуміемъ. Пресловутый еврейскій ученый Ломброзо прямо называетъ геніальность однимъ изъ видовъ эпилепсіи. „Вмѣсто конвульсій,—говоритъ онъ,—эпилепсія проявляется иногда въ соответственныхъ психическихъ явленіяхъ, какъ геніальное творчество“... Менѣе рѣшительно, но близко къ этому высказываются о всемъ духовно-необыкновенномъ другіе ученые позитивисты. Собору этихъ положительныхъ и сухихъ умовъ предоставилъ изслѣдователь судить нѣжную и тревожную душу Поэ...

Но кромѣ сужденій въ книгѣ Ловріера собрано множество фактовъ и документовъ. Когда европейская публика впервые познакомилась въ Поэ, о жизни его извѣстно было немного. Очерки Бодлера и Готье цѣнны больше критической прозорливостью, чѣмъ фактическими данными. Наиболѣе извѣстная изъ біографій поэта, Руффуса Грисвальда, представляетъ явленіе странное, „необыкновенную исторію“ въ своемъ родѣ. Извѣстно, что Поэ, считая Грисвальда своимъ другомъ, завѣщаль составленія своего жизнеописанія этому писателю. Но коварный другъ соединилъ въ своей книгѣ всѣ клеветы, распространявшіяся про Поэ при жизни, всѣ ложныя рассказы ханжей и лицемѣровъ и далъ совершенно искаженный образъ поэта. Все это по частямъ было потомъ опровергнуто, но слѣды клеветы остались, какъ водится. Извѣстность Поэ какъ поэта и рассказчика утвердилась въ Америкѣ только послѣ признанія его Европой. Тогда появились новыя его біографіи, Инграма, Водбери, воспоминанія Ловеля, Грахами и многихъ другихъ. Собрано было все имъ написанное, издана и издается переписка до малѣйшихъ записокъ. Слава Поэ, такъ жаждавшего ея при жизни и такъ страдавшего, достигла нынѣ на родинѣ его гигантскихъ размѣровъ. Автографы его продаются дороже автографовъ Наполеона и Байрона. Бѣдный домикъ, въ которомъ онъ жилъ въ окрестностяхъ Нью-Йорка, купленъ литературнымъ обществомъ и сохраняется въ прежнемъ видѣ. Литература и общество принесли несчастному писателю дань поздняго раскаянія:

И все, чего желалъ онъ жадно  
И горячо всегда живой,—  
Все совершилось безпощадно —  
Надъ гробовой его доской!..

Ловриеръ, пользуясь преимуществомъ позднѣйшихъ изслѣдователей, соединилъ все заработанное раяѣ въ печати предшественниками, и для поклонниковъ Поэ книга его полна интереса, не взирая на мѣщанскую мораль и предвзятость.

\* \* \*

Зимою 1811 года въ Ричмондѣ, въ южныхъ штатахъ Сѣверной Америки, появилось въ газетахъ воззваніе о помощи актрисѣ Елизаветѣ Поэ, до замужества Арнольдъ, играла съ мужемъ своимъ дилетантомъ-любителемъ Давидомъ Поэ въ разныхъ городахъ Соединенныхъ Штатовъ въ кочующихъ труппахъ, переѣзжавшихъ съ мѣста на мѣсто. Въ ея игрѣ и наружности было что-то особенное, чарующее. Но непомѣрный трудъ,—ей случалось играть по три роли въ вечеръ,—и нищета надорвали рано ея силы. Она должна была оставить сцену съ больнымъ мужемъ и тремя дѣтьми и теперь умирала сама.

Когда нѣкоторые изъ сердобольныхъ людей проникли въ жилище актеровъ, чтобы подать кое-какую помощь, они увидѣли слѣдующую картину: въ бѣднѣйшей квартирѣ, на тюфякахъ изъ соломѣ лежало двое тяжело больныхъ людей. Въ домѣ не было ни крошки провизіи, ни копѣйки денегъ, ни топлива, и всѣ вещи, какія можно было заложить или продать, были заложены и проданы. При родителяхъ было двое дѣтей, едва одѣтыхъ и полумертвыхъ отъ голода.

Смотрѣла за ними старуха, прибывшая съ г-жей Поэ еще изъ Англіи. Чтобы успокоить младшаго ребенка, дѣвочку, которой было всего нѣсколько мѣсяцевъ, старуха давала время отъ времени комки хлѣба, намоченнаго въ добытой гдѣ-то можжевельной водкѣ. Старшій изъ двухъ дѣтей былъ Эдгаръ Поэ, родившійся въ 1809 году.

Ужасное положеніе семьи произвело впечатлѣніе въ городѣ и, по смерти родителей, дѣти были взяты на воспитаніе добрыми людьми. Дѣвочку взяла какая-то дальняя родственница, а мальчика— богатая бездѣтная купеческая чета Аллановъ.

Изъ бездомнаго нищаго, маленькій Поэ превращается въ балованнаго ребенка, котораго лелѣютъ и носятъ на рукахъ. Рано обнаружившіяся необыкновенныя способности сдѣлали его въ своемъ родѣ городской знаменитостью. Онъ поражалъ своей памятью, искусствомъ декламаціи, быстротой, съ какой усваивалъ все, чему его учили. Въ 1815 г. Алланъ по торговымъ дѣламъ отправился въ Англію, взявъ съ собой жену и пріемыша. Здѣсь Поэ отданъ былъ въ школу, невдалекѣ отъ Лондона, гдѣ провелъ четыре съ лишнимъ года. Дальнѣйшее его образованіе проходило опять въ Ричмондѣ, куда онъ вернулся въ 1820 г., въ классической школѣ. Въ это время стало уже обнаруживаться несоотвѣтствіе взглядовъ воспитателей и склонностей и стремленій страннаго мальчика. Алланы хотѣли сдѣлать изъ воспитанника купца или чиновника. Поэ писалъ стихи, любилъ поэзію и бредилъ возставшей Греціей и Байрономъ.



Онъ бѣжалъ изъ дому Аллановъ и пропалъ безъ вѣсти. Гдѣ былъ онъ это время? По однимъ версіямъ онъ пробрался на торговомъ суднѣ въ Европу, участвовалъ въ греческомъ возстаніи, потомъ попалъ какимъ то образомъ въ Петербургъ и оттуда только возвратился въ Америку. Прослѣдившій жизнь Поэ шагъ за шагомъ, Ловриеръ путается въ показаніяхъ объ этомъ періодѣ, то подтверждая, то отрицая юношескую эпопею своего героя.

Овдовѣвшій Алланъ въ это время женится вторично. Поэ, пользуясь всетаки его покровительствомъ, опредѣляется въ высшую военную школу. Къ этому времени относится появленіе первыхъ его опытовъ въ журналахъ и отдѣльных изданіяхъ. Увлеченія юности въ военной школѣ, въ кругу товарищей, ведутъ къ долгамъ и къ исключенію. Отношеніе съ Алланами совершенно разстраиваются, онъ покидаетъ ихъ домъ, оставляетъ ихъ навсегда и рѣшается отдаться исключительно литературному призванію.

Съ этой поры начинается мартирологъ Поэ, непрерывная цѣпь борьбы и страданій. Онъ отдается ужасному, не знающему отдыха труду, исполняетъ всевозможную черную литературную работу, едва оплачиваемую въ ту пору въ Америкѣ, переживавшей тогда дилетантскую эпоху литературы, подобно нашей литературѣ 20—30-хъ годовъ. Онъ переѣзжаетъ изъ города въ городъ, переходитъ изъ журнала въ журналъ, отъ одного издателя къ другому. Получившія большую извѣстность полемическія его статьи даютъ успѣхъ

изданіямъ, въ какихъ онъ участвуетъ. Но столкновенія съ издателями, грубыми промышленниками, заставляютъ Поэ бѣжать отъ нихъ и искать людей болѣе порядочныхъ. Фантастическіе и странные рассказы его появляются время отъ времени. Они имѣютъ нѣкоторый успѣхъ, но не ихъ цѣнятъ издатели и публика. Нѣкоторые изъ этихъ очерковъ, даже лучшіе, съ трудомъ находятъ себѣ мѣсто въ печати, Поэ цѣнится исключительно какъ критикъ. Между тѣмъ фантастика, область таинственнаго, лиризмъ, сложныя движенія души—одни влекутъ писателя, въ нихъ однихъ видитъ онъ свою настоящую силу. Вся его литературная судьба, судьба писателя утонченнаго среди общества грубаго, преданнаго однимъ будничнымъ интересамъ, выражена въ предисловіи къ книжкѣ, гдѣ появился знаменитый „Воронъ“ и нѣкоторыя другія изъ лучшихъ его сочиненій. „Обстоятельства, не зависѣвшія отъ меня“, пишетъ Поэ, „препятствовали мнѣ постоянно дѣлать серьезныя усилія въ той области, которая, при болѣе счастливыхъ условіяхъ, была бы единственною сферою моего выбора“... Такова трагедія его судьбы, какъ писателя. Житейская трагедія его менѣе сложна и болѣе обыкновенна. Она выражается главнымъ образомъ словомъ—нищета, нищета скрываема, „приличная“, едва ли не самая тягостная. Къ ней присоединился какъ извѣстно, болѣзненный запой.

Мечта Поэ—имѣть свой собственный журналъ—не могла осуществиться всю жизнь. Когда однажды изданіе, въ которомъ онъ участвовалъ, должно

было перейти въ его распоряженіе, онъ не могъ продолжать его, не имѣя возможности достать пятьдесятъ долларовъ, чтобъ выплатить долгъ типографіи, и долженъ былъ передать журналъ въ другія руки.

Преслѣдуемый неудачами, Поэ былъ вознагражденъ за нихъ въ семейной жизни. Жена его Виргинія, которую онъ обожалъ, была сама кротость, а въ лицѣ тещи, г-жи Клемъ, онъ нашелъ истиннаго ангела-хранителя. Необыкновенная любовь и заботливость этой женщины спасали поэта отъ полного отчаянія, а иногда и отъ голодной смерти.

Не всѣ друзья Поэ походили также на Грисвольда. Были между ними преданные ему всю жизнь. Одною изъ радостей Поэ было знакомство съ Дикенсомъ, пріѣзжавшимъ въ Америку въ 1842 году. Дикенсъ хлопоталъ потомъ объ изданіи его рассказовъ въ Англіи, но, несмотря на все свое вліяніе, не могъ найти на это охотниковъ между англійскими издателями, у которыхъ теперь Поэ фигурируетъ въ качествѣ „классика“.

Житейскія тревоженія Поэ, вмѣстѣ съ душевной тревогой, возросли послѣ кончины его жены, когда онъ остался одинокимъ. О его горестяхъ, невзгодахъ, а также послѣдовательныхъ увлеченіяхъ нѣсколькими женщинами подробно повѣствуетъ намъ Ловріеръ. Г-жи Шау, Уитмаръ, „Анни“, Талей, Чельтонъ послѣдовательно привлекали его причемъ раза два онъ былъ близокъ къ новому браку. Все это рассматривается строгимъ біографомъ, какъ несомнѣнные признаки развивающа-

гося безумія, причемъ онъ забываетъ объяснить, какъ вяжется съ этимъ появленіе въ то же время новыхъ произведеній, въ которыхъ талантъ Поэ поднимался все сильнѣе. Очевидно, что дѣло идетъ о разныхъ вещахъ и что творчество есть область столь своеобразная, въ которую не проникнешь, даже вооружившись ключами съ учеными надписями.

Послѣдняя глава біографіи, гдѣ Ловріеръ свелъ воспоминанія о послѣднихъ дняхъ поэта, избавлена нѣсколько отъ прокурорскихъ замашекъ. Поэ въ 1849 г. уѣхалъ на родину, въ Ричмондъ, гдѣ встрѣтилъ старыхъ друзей и гдѣ, передъ смертью, провелъ нѣсколько сравнительно спокойныхъ и отрадныхъ мѣсяцевъ. Здѣсь встрѣтилъ онъ и г-жу Талей, свою послѣднюю симпатію, которая оставила интересныя и искреннія воспоминанія о послѣднихъ дняхъ писателя. Когда онъ уѣзжалъ изъ Ричмонда и прощался съ ней, надъ ихъ головами, скатилась падучая звѣзда. Оба приняли это съ шуткой, но черезъ нѣсколько дней Поэ не стало.

Онъ умеръ въ Балтиморѣ въ больницѣ, въ припадкѣ совершеннаго нервнаго расстройства. Только черезъ много лѣтъ вспомнили о его могилѣ и стали производить сборъ на памятникъ. Но еще въ семидесятыхъ годахъ прошлаго вѣка дѣло это было въ Америкѣ слишкомъ необычнымъ, и необходимая сумма скопилась лишь въ нѣсколько лѣтъ. Памятникъ, открытый въ 1875 г., былъ первымъ, какой поставили американцы писателю. Сочиненія Поэ еще долго шли туго и г-жа Клемъ доживала дни въ богадѣльнѣ. Посѣтившій вто-



рично Америку Дикенсъ нашель ее въ бѣдности и, въ память объ „Эдди“, упросилъ принять отъ него небольшую сумму.

\* \*  
\*

Разсказы и лирическія произведенія, главнымъ образомъ дающіе Поэ право на безсмертіе, не были, какъ уже сказано, ни оцѣнены, ни поняты въ свое время въ Америкѣ. Тревожныя, тонкія, исключительныя, „необыкновенныя исторіи“ Поэ были не по плечу народу промышленниковъ и комерсантовъ, все счастье свое и благополучіе полагавшихъ въ накопленіи богатствъ и денегъ. Лихорадочно дѣловая жизнь оставляла тамъ мало времени для мысли о вещахъ, оторванныхъ отъ земли. Какъ могли затронуть это общество разсказы, поэмы, главнымъ мотивомъ которыхъ служить то, что есть необычайнаго въ природѣ и человѣческой душѣ? Черезъ Францію и Англію, разсказы эти только много лѣтъ спустя вернулись въ Америку, уже очень измѣнившуюся и преобразенную, гдѣ и стали предметомъ живѣйшаго восхищенія а можетъ быть и моды. Въ нѣсколькихъ обширныхъ главахъ Ловріеръ занимается ихъ анализомъ, не покидая ни на минуту своей медицинской указки. Разсмотрѣвъ потомъ послѣдователей и подражателей Поэ, онъ не находитъ между ними ни одного дѣйствительно къ нему близкаго по той простой причинѣ, что истинная своеобразность не перенимается и не поддается подражанію.

Критическіе труды, которымъ Поэ посвятилъ большую часть дѣятельности, имѣютъ для Аме-

рики историческое значеніе. Американская литература его времени представляла хаосъ, въ которомъ смѣшивался дилетантизмъ, мелкія литературныя партіи и всѣ элементы младенческой литературной эпохи. Кромѣ Лонгфелло, Готорна и Эмерсона, Поэ, конечно не могъ замѣтить въ ней никакихъ дѣйствительныхъ талантовъ. Поэтому совершенно понятною и объяснимою представляется теперь его „строгость“, казавшаяся столь ужасною. Его собственный идеаль былъ возвышенъ, вкусъ утонченъ. Нѣкоторые промахи, на которые указываетъ Ловріеръ, зависѣвшіе отъ недостаточности образованія, съ избыткомъ искупаются общимъ характеромъ критической дѣятельности Поэ и ея независимостью. Упрековъ заслуживала бы его излишняя снисходительность къ сонму authoress, которыя тогда, какъ и теперь, наводняли англо-саксонскія литературы. Но, по собственному признанію, снисходительность эта объяснялась тѣмъ, что громадному большинству дамскихъ литературныхъ произведеній онъ не придавалъ никакого серьезнаго значенія.

Нѣсколько главъ книги посвящены стихотворнымъ произведеніямъ Поэ, которыя вышли при жизни поэта тремя сборниками, но въ сущности очень малочисленны. Сборники въ значительной степени состояли изъ перепечатокъ или исправленій раньше написаннаго. Тяжкая судьба Поэ наложила руку на поэтическую его производительность. „Поэзія не была для меня занятіемъ,—пишетъ онъ,—но страстью. А страсти заслуживаютъ пощады. Онѣ не должны и не могутъ быть воз-

буждаемы по прихоти въ расчетѣ на ничтожныя воздаянія или на еще болѣе ничтожные знаки людской благодарности“. Первая его поэма „Тамерланъ“ навѣяна байронизмомъ поэтическимъ выраженіемъ движенія, всколыхнувшего Европу въ концѣ XVIII вѣка. Одна изъ послѣднихъ, знаменитый „Воронъ“, есть полное выраженіе отчаянія и безнадёжности.

Въ главѣ „Рое cosmogoniste“ Ловріеръ разсматриваетъ извѣстную философскую фантазію „Eureka“ и даетъ полную волю своимъ медико-психіатрическимъ бичеваніямъ. Онъ разбираетъ книгу, какъ произведеніе душевно-больного, страдающаго маніей величія. На самомъ дѣлѣ въ опытѣ этомъ развита чисто пантеистическая система, а фраза Поэ „о собственномъ величіи“ есть обыкновенная мысль о человѣкѣ, какъ о самомъ совершенномъ созданіи природы... Какъ бы то ни было, надо имѣть большую любовь къ писателю, чтобъ посвятить столько труда, сколько посвятилъ Ловріеръ своему герою, и немногіе поэты дождались монографій столь внимательныхъ, какъ Эдгаръ Поэ въ этой обстоятельной, хотя и односторонней книгѣ.

---

## ПЕРВАЯ ПОВѢСТЬ СЕНКЕВИЧА.

---

— Вотъ и Кіевъ!—сказалъ молодой человѣкъ, по имени Іосифъ Шварцъ, въѣзжая въ древній городъ, когда, разбуженный формальностями у заставы, увидѣлъ себя вдругъ среди городскихъ улицъ и построекъ...

Таковы первыя слова повѣсти, которую Генрихъ Сенкевичъ, тогда еще студентъ историко-филологическаго факультета, началъ писать отъ нечего дѣлать на каникулахъ 1869 года. Въ печати она появилась спустя три года подъ заглавіемъ: „Na marne“—„Понапрасну“.

Повѣсть эта не включается въ собраніе сочиненій автора и печатается въ серіи его „Произведеній молодости“ \*). Это не мѣшаетъ ей быть вещью значительной и носить въ зачаткахъ всѣ черты таланта Сенкевича. Есть въ ней неопытности, зіяющія мѣста. Но на лицо уже сильная живопись характеровъ и тотъ лиризмъ, щемящій и жгучій, что составляетъ особенность бытовыхъ произведеній польскаго автора.

Писалась повѣсть сперва безъ мысли о печатаніи. Но съ первыхъ шаговъ, съ первыхъ страницъ,

---

\*) „Pisma nieobjeje wydaniem zbiorowem“, t. II. Warszawa. 1901.



сказались призваніе автора и его чисто писательскій складъ. Въ интересномъ сборникѣ критическихъ и историко-литературныхъ этюдовъ Хржановскаго, „Литературные Осколки“ \*), предъ нами въ подлинной перепискѣ вся исторія этого первенца Сепкевича. Начавши работать лѣтомъ, близъ Варшавы, онъ уже живетъ душою въ мірѣ повѣсти, живетъ жизнью ея героевъ и пишетъ о всемъ этомъ двумъ друзьямъ, такимъ же студентамъ, какъ онъ самъ. Совершенная обдуманность, полное пониманіе дѣла начатаго „случайно“, видны въ письмѣ его о своей попыткѣ. „Poetae nascuntur“, — дѣло извѣстное. Но далеко не всѣ поэты обладаютъ столь яснымъ сознаниемъ силъ и средствъ своего искусства, какое авторъ „Quo Vadis“ обнаружилъ съ перваго своего шага.

Онъ видитъ асно „недомолвки“, прорѣхи разсказа и мучится ими. Главное лицо, 'студентъ Шварцъ, озабочиваетъ его всего болѣе. Это практикъ-позитивистъ, взятый въ минуты увлеченій молодости, отъ которыхъ не свободны и такія натуры. По замыслу его, это будетъ характеръ отрицательный. Но онъ таковъ не самъ по себѣ: такимъ дѣлаютъ его свѣтъ, жизненные столкновения. Мы увидимъ потомъ, какъ тревожно доискивается Сепкевичъ правдиваго, яснаго конца задуманной имъ жизненной драмы, какъ особенно оберегаетъ развитіе характера именно этого Шварца, жертвуя всѣми эффектами, избирая исходъ самый „простой“ и будничный, но и самый логическій..

---

\*) Ign. Chrzanowski. „Okruchy literackie“. Warsz. 1903.

О студенческой жизни онъ говоритъ, что въ описаніи ея онъ руководствуется и наблюденіемъ и фантазіей. „Характеръ предметовъ стараюсь сколько можно выдержать. Въ сущности у меня все настолько готово, что пишу не сочиняя, только записывая то, что сложилось въ головѣ. Мѣстами повѣсть отдаетъ совсѣмъ дѣйствительностью“. Въ первой части разсказа важная роль принадлежитъ идеалисту и энтузіасту, Густаву, приносящему себя въ жертву женщинѣ, которая его не любитъ. „Съ особою любовью, — пишетъ Сенкевичъ, — я обрабатываю этотъ характеръ и боюсь, чтобы, помимо желанія, лицо это не стало главнымъ. Вся правда этого характера заключается въ его экзальтаціи. Главная женская фигура, — „вдова“, — взята въ періодъ черной меланхоліи. Краски наложены рѣзко, потому что надо придать образу большій рельефъ. Встрѣча съ Шварцемъ пробуждаетъ ее къ жизни. Тутъ возникаетъ вопросъ о внезапности любви“.

„Ношусь мыслью, — пишетъ далѣе Сенкевичъ, — во всѣ стороны вокругъ предмета. Залетаю впередъ, отдаляюсь, едва касаюсь его, какъ ласточка, что едва задѣваетъ крыломъ о воду, — и снова лечу дальше“...

Не взирая на весь жаръ работы, юный авторъ признается, что нападаютъ на него минуты полного упадка духа, такія, когда весь этотъ трудъ кажется ему противнѣйшею ничтожностью, не стоящею огня, на которомъ долженъ бы быть сожженъ. Но невольно опять возвращается онъ къ нему. То вдругъ является новое мученіе. Повѣсть Ожешко-

вой „Въ клѣткѣ“, печатавшаяся въ то время, заключаетъ въ себѣ какія-то созвучныя ноты съ повѣстью, какую онъ пишетъ. „Клянусь, что не заимствую у нея мотивовъ и что въ замыслѣ встрѣтился съ нею случайно. Да и ея повѣсть рождена на небѣ, а моя на землѣ. Тамъ слетѣвшіе съ неба прекрасные ангелы; у меня—люди. Такъ бы, по крайней мѣрѣ, мнѣ хотѣлось, чтобы было“... Такъ оно и случилось. Но мало кому изъ русскихъ читателей знакомъ первенецъ Сенкевича, о которомъ мы повели рѣчь. Надо поэтому передать хоть сжато его содержаніе, что необходимо и для дальнѣйшаго нашего разсказа.

\* \* \*

„Главный недостатокъ повѣсти, — полу-шутя, полу-серьезно, говоритъ Сенкевичъ въ одномъ изъ напечатанныхъ г. Хржановскимъ писемъ,— отсутствіе всякой тенденціи. Это—психологическій очеркъ, какихъ много появляется теперь“. Въ самомъ дѣлѣ, мотивы общественные, политическіе, отсутствуютъ въ ней. Интересъ сосредоточенъ на обрисовкѣ отдѣльныхъ личностей, характеровъ и взаимныхъ ихъ столкновений.

Молодой жмудякъ, Іосифъ Шварцъ, сынъ простаго кузнеца, пріѣзжаетъ въ Кіевъ учиться. На первыхъ же шагахъ онъ сталкивается съ былымъ своимъ гимназическимъ товарищемъ, Густавомъ, съ которымъ и поселяется вмѣстѣ, и подъ крылышкомъ котораго и входитъ въ студенческую среду. Въ университетѣ Шварцъ, „трезвый позитивистъ“, избираетъ не исторію, не философію, не естественныя науки, расширяющія умственный го-

ризонть, а науку прикладную, медицину. Онъ долженъ завоевать себѣ мѣсто въ жизни, долженъ быть богатымъ. На студенческихъ сборищахъ въ студенческомъ клубѣ, онъ слушаетъ только восторженные рѣчи, но самъ благоразумно помалкиваетъ.

Жизнь энтузіаста Густава осложнена страннымъ обстоятельствомъ. Онъ является „опекуномъ“ и пестуномъ полу-нормальной молодой женщины, Елены Потканьской, „вдовы“, какъ она чаще всего и называется въ повѣсти, студента-шляхтича, женившася на ней противъ воли своихъ родителей и черезъ годъ умершаго, также какъ и ея единственный ребенокъ. Любимецъ всего студенчества, Потканьскій вручилъ, умирая, Елену попеченіямъ Густава и послѣдній свято исполняетъ принятый на себя долгъ. Онъ тѣмъ болѣе преданъ этому долгу, что самъ безумно любитъ Елену, ласково относящуюся къ нему, но совершенно равнодушную. „Вдова“ посѣщаетъ студенческій клубъ, гдѣ, вмѣстѣ съ Густавомъ, встрѣчаетъ Шварца.

Отдаленное сходство съ мужемъ и какая-то магнитическая сила сразу приковываютъ къ Шварцу ея вниманіе. Черезъ день она уже проситъ Густава, познакомить его съ ней, а послѣ первыхъ встрѣчъ, уже не скрываетъ своей любви къ нему. Шварцъ, зная чувства товарища, удаляется отъ Елены и клянется не видѣться съ ней. Онъ держитъ слово втеченіе болѣе года, пока, сломленный душевнымъ горемъ и непосильной работой, Густавъ не умираетъ. Въ свою очередь онъ умоляетъ Шварца снять съ себя клятву и повидаваться съ Еленой, остающейся опять безъ под-



держки на свѣтѣ. Молодость, весна, самолюбивое и тщеславное чувство побѣждаютъ Шварца, и онъ становится другомъ вдовы. Но между людьми этими, несмотря на страстную привязность Елены, мало общаго. И когда на горизонтѣ появляется новая личность, дочь совершенно разорившагося графа, поселившагося въ одномъ домѣ съ Шварцемъ, герой повѣсти чувствуетъ къ ней гораздо болѣе глубокое и истинное влеченіе. Но мнѣніе товарищей, общественное давленіе и собственная рѣшимость заставляютъ его загладить свой грѣхъ и онъ рѣшается порвать съ графиней, потерявшей къ тому времени отца, и жениться на Еленѣ. Чтобъ выйти изъ фальшиваго положенія и объяснить свое бѣгство, онъ поручаетъ пріятелю своему, Августиновичу, объявить графинѣ о его женитьбѣ. Всѣ эти столкновенія, вся борьба и одновременная усиленная научная работа, изнуряютъ его и онъ тяжело заболѣваетъ. Елена, уже готовившаяся къ свадьбѣ, не отходитъ въ больницѣ отъ его изголовья. Въ одну изъ минутъ просвѣтленія, Шварцъ съ раздраженіемъ высказываетъ ей, какъ тяжело ему ее видѣть, какъ спутывается она его жизнь. Потерявшая послѣднюю опору и смыслъ существованія, Елена убѣгаетъ отъ него и топится въ Днѣпрѣ. Графиня, узнавъ, что онъ все же любилъ ее, оставляетъ Кіевъ, семью, въ которой жила, отказываетъ богатому жениху—дальнему своему родичу, и начинаетъ жизнь самостоятельнаго труда, въ надеждѣ, что Шварцъ оцѣнитъ происшедшую въ ней переменѣ и обратится къ ней. Августиновичъ сообщаетъ обо всемъ

этомъ выздоровѣвшему Шварцу и, къ удивленію своему, получаетъ такой отвѣтъ:

— Слишкомъ, слишкомъ много силъ тратимъ мы въ погонѣ за женской любовью. Потомъ любовь, какъ птица, куда-то исчезаетъ, а силы оказываются потраченными п о н а п р а с н у!..

Болѣзнь окончательно исцѣлила положительнаго человѣка, отдававшаго дань молодости. Отъ дальнѣйшихъ увлеченій онъ застрохованъ и только жалѣетъ объ истраченныхъ напрасно силахъ...

Въ этомъ скелетѣ повѣсти мы не могли передать ни бытовыхъ ея красокъ, ни романтическаго интереса женскихъ образовъ, столь привлекательныхъ всегда у Сенкевича, ни, мѣстами, его юмора. Кромѣ Густава, Елены, графини и Шварца, выступаетъ не мало и другихъ лицъ. Не малую роль играетъ эпикуреецъ и циникъ Августинovichъ, пріатели-студенты Василькевичъ и Карвавскій,—сынъ хлопа и богатый шляхтичъ, подруга графини Малинка, ограниченный и убогій духомъ кузенъ-претендентъ и пр. Общая картина жизни провинціальнаго студенчества лѣтъ сорокъ назадъ не лишена также интереса и значенія.

\* \*  
\*

Сенкевичъ первоначально не предназначалъ въ печать этой вещи. Только подъ вліяніемъ пріателя своего, доктора Добрскаго, онъ окончилъ повѣсть. Выѣхавшій на жительство въ Бѣну, Добрскій долженъ былъ сдѣлаться и издателемъ книги. По этому поводу завязалась между ними переписка, оставшаяся свидѣтельствомъ первыхъ литератур-

ныхъ шаговъ писателя, обратившаго въ послѣдствіи на себя вниманіе всего образованнаго міра.

Въ общемъ, авторъ видитъ въ повѣсти множество недостатковъ. Но можетъ быть характеры и самый предметъ искупаютъ ихъ. Онъ проситъ издателя о поправкахъ, не слога и мыслей конечно, а тѣхъ повтореній и пропусковъ, которые фатально ускользаютъ отъ самого сочинителя. Подымается вопросъ о псевдонимѣ. Но вѣдь имя его автора значить ни чуть не больше, чѣмъ любой псевдонимъ, какой можно бы выдумать...

Сенкевичъ въ это время продолжаетъ еще университетскій курсъ. Говоря о поправкахъ, которыя желалъ бы сдѣлать въ повѣсти, онъ сильно сѣтуетъ на мѣшающіе ему экзамены.

Друзья совѣщаются о нѣкоторыхъ переменѣхъ въ разсказѣ.

Издателю приходитъ мысль извлечь изъ волнъ Днѣпра трупъ утопившейся героини и положить его на анатомическій столъ, гдѣ бы его разсѣкалъ Шварцъ. Сенкевичъ находитъ этотъ эффектъ избитымъ, сто разъ повтореннымъ и пишетъ, что предъ нимъ рисуется уже нѣсколько заключительныхъ сценъ, которыя онъ отлично „слышитъ и видитъ“. Имъ овладѣла „лихорадка поправокъ“ и онъ боится, чтобъ подъ его вліяніемъ совсѣмъ не похерить повѣсть.

Онъ сообщаетъ, что въ умѣ у него носится уже другой сюжетъ, тенденціозный, сюжетъ повѣсти-сатиры, которую можно бы назвать „Странствованія по нашимъ дорогамъ“,—нѣчто вродѣ „Мертвыхъ Душъ“ Гоголя. Но теперь нѣтъ времени для работы.

Добрскій представилъ рукопись дебютанта на разсмотрѣніе ветерану польской беллетристики, Крашевскому. Жившій въ Вѣнѣ и имѣвшій тамъ свою типографію, Крашевскій долженъ былъ и печатать повѣсть.

Привѣтствуя новаго дѣятеля на „бѣдной польской литературной нивѣ, гдѣ онъ можетъ проявить талантъ, данный ему Богомъ“, Крашевскій обѣщалъ выразить свое мнѣніе, хотя считаетъ, что авторъ болѣе всего долженъ слушаться своего внутренняго внушенія и голоса. „У него горячее сердце, фантазія, богато одаренная душа. Это самое главное. Все остальное принесетъ знаніе людей и изученіе жизни“. Прочитавъ повѣсть, онъ тотчасъ отозвался письмомъ, которое и было первымъ критическимъ откликомъ на произведенія Сенкевича.

„Повѣсть „Na marne“,—говоритъ Крашевскій,—написана превосходно. Читалъ се съ большимъ интересомъ и могу лишь искренно сказать, что рѣдко первое произведеніе являлось столь зрѣлымъ. Авторъ обязанъ въ этомъ случаѣ и своему таланту и удачѣ, съ какою выбралъ тему изъ своей или хорошо знакомой ему жизни, что дало ему возможность писать съ натуры“.

Но если оцѣнка повѣсти была благопріятна, то дѣло изданія стояло плохо. Типографія Крашевскаго была продана и надо было обращаться съ предложеніемъ къ книгопродавцамъ. Къ счастью рукопись была уже процензурована и могла появиться въ русской Польшѣ, представляющей, по мнѣнію Крашевскаго, единственное вѣрное мѣсто



сбыта для польскихъ книгъ. Крашевскій предлагалъ свои услуги для поддержки произведенія передъ издателями.

Отзывъ ветерана польской беллетристики былъ отраденъ Сенкевичу. „И теперь, хоть первое впечатлѣніе уже прошло, я испытываю удовольствіе, чувствуя въ себѣ силу, подтвержденную свѣдущимъ судьей“, писалъ онъ. Рукопись онъ проситъ возвратить, надѣясь пристроить ее въ одно изъ варшавскихъ періодическихъ изданій. „Книга даетъ больше безсмертія, чѣмъ періодическое изданіе,—шутя прибавляетъ онъ:—Но для безсмертія у меня есть еще время“.

Въ концѣ - концовъ, повѣсть появилась въ 1872 г. въ журналѣ „Wieniec“, а въ 1876 г. вышла отдѣльной книгой.

---

## ЯКОВЪ СТАРОСТИНЪ.

---

Быстро идетъ время, а въ эпохи общественныхъ перемѣнъ, какъ наша, и недавнее прошлое кажется страшно отдаленнымъ. Отодвигается также быстро, смѣняя одно другое, явленіе печати. Кто помнитъ еще лиловыя книжки „Дѣла“, сокрушительныя статьи въ нихъ Никитина и Шелгунова,—радость юнкеровъ и гимназистовъ,—романы съ развивателями изъ семинаристовъ, или переселеніемъ героевъ въ земной эдемъ—Америку, стихи „на затычку“, гдѣ, если описывалась зима, то означала не просто зиму, а административный гнетъ, а весна знаменовала общественное оживленіе и радость по поводу него обывателей. А, чтобы помнить все это, не надо имѣть Маѳусаиловъ вѣкъ... На страницахъ „Дѣла“, въ тѣ времена, появлялось, подъ вещами совсѣмъ иного типа, имя Якова Старостина.

Въ 1901 году, когда мы считали этого писателя давно сошедшимъ со сцены, вышла книга его „Выбранное, что лучше“. Въ книгѣ повторены два старыхъ произведенія, явившіеся въ „Дѣлѣ“. „Похожденія семинариста Хлопова“ въ поискахъ невѣсты и священническаго сана, живыя картинки

быта сѣверно-русскаго духовенства лѣтъ тридцать назадъ, съ типичными, яркими фигурами поповъ, матушекъ, поповенъ, причетниковъ, семинаристовъ. Это простая исторія о томъ, какъ счастье промелькнуло мимо юноши, принесшаго любовь въ жертву разсчету. „Мой другъ Вагонъ и его родители“—одинъ изъ многочисленныхъ въ то время рассказовъ „изъ народнаго быта“. Въ этомъ этюдѣ новгородской деревни нѣтъ, однако, ни сентиментализма, ни неслоснаго тогдашняго направленскаго подчеркиванья. Все здѣсь просто. И,—вмѣстѣ съ тѣмъ,—столько душевной силы, сочувствія деревенской простотѣ и бѣдности. Лѣнтяй мужикъ, труженица—баба, маленькій Никонъ, или Вагонъ, крестьянскій мальчикъ, „герой“ рассказа, дѣловитый и серьезный,—всѣ такъ жизненны и характерны. Пропажа лошади, Рыжка, и прощанье съ Вагономъ глубоко трогаютъ читателя.

Двѣ остальные вещи въ книгѣ Старостина, большой романъ „Наше счастье“ и повѣсть „Послѣдняя“, написаны совсѣмъ въ другомъ родѣ и какъ будто другимъ писателемъ. Между первыми рассказами и этими произведеніями прошелъ очевидно долгій промежутокъ времени, послѣ котораго, авторъ снова взялся за перо. Осталась только симпатичная простота, отличающая талантъ г. Старостина. Вновь явились—жизненный опытъ, вдумчивость, вереница наблюденій и горечь, рождаемая близкимъ знаніемъ людей. Эти не дешево достаемія пріобрѣтенія отразились въ романѣ „Наше счастье“, являющимся центральнымъ произведеніемъ книги.

Сочиненіе это принадлежит какъ бы къ типу романовъ автобіографическихъ. Начинаясь съ описанія дѣтства рассказчика, въ Вологодской глуши, рассказъ повѣствуетъ о его гимназическихъ годахъ, бѣгствѣ изъ родныхъ мѣстъ въ Петербургъ, о перемежающемся удачами житьѣ-бытьѣ здѣсь и службѣ въ частныхъ конторахъ и, главнымъ образомъ, о страстяхъ, смѣняющихъ одна другую, и рядѣ сердечныхъ увлеченій. Всѣ черты этой обыденной повѣсти правдивы. Существенное же отличіе ея отъ многочисленныхъ фотографій этого рода то, что это вещь психологическая, захваты вающая, хоть и чуждая всякихъ эффектовъ. Живопись здѣсь проникаетъ вглубь и освѣщаетъ своимъ свѣтомъ какъ второстепенныхъ встрѣчныхъ лицъ, такъ особенно образъ рассказчика, натуру страстную, сильно чувствующую. Въ романѣ нѣтъ подчеркнутой одной „общей идеи“. Но много мыслей и наблюденій, которыя останавливаютъ своей вѣрностью и глубиной. Счастье, о которомъ идетъ рѣчь,—счастье личное, счастье отдѣльнаго человека. Но имѣй каждый свою долю счастья, выиграли бы всѣ, ибо, по выраженію автора романа, „счастливыя человѣкъ не можетъ быть обидчикомъ“. Есть ли однако счастье вообще? Возможно ли оно, каковы его признаки и условія? На это пытается отвѣтить весь рассказъ, но оступаетъ передъ задачей дать одинъ, рѣшительный отвѣтъ, а даетъ рядъ замѣтокъ о жизни, людяхъ, горѣ и счастьи.

Какъ всѣ скептики, авторъ избѣгаетъ рѣшительныхъ приговоровъ, и его опредѣленіе счастья нѣсколько ироническое:



„Я думаю, что счастье есть приятное возбужденіе духа,— это опредѣленіе не будетъ лучше или хуже другихъ. Женщины, карты, вино, любимая работа, удача, доброе дѣло, видъ природы, трава, ожиданіе весны, люди, комедіи и драмы, тайны природы и тайны людскія—все это такъ любопытно и все это можетъ дать счастье. Но все нужно любить, нужны страсти и увлеченія. У большинства людей мало чувства и воображенія, а потому они любятъ вино и карты...“—„Какъ пчела съ цвѣтка и съ дерева собираетъ медъ, такъ и человѣкъ со всѣхъ страстей можетъ взять себѣ дань“.

Но страсти нашъ авторъ не забываетъ раздѣлить на высокія и низкія, благородныя и неблагородныя. Разнымъ типамъ людей свойственны разныя страсти, а потому и счастье люди понимаютъ каждый на свой ладъ.

„Въ жизни все чередуется: одно идетъ хорошо, другое худо. Тѣмъ и дорого наше счастье, что оно всегда слетается съ несчастьемъ. Жизнь похожа на сосудъ, въ который мы вливаемъ счастье въ видѣ живительной влаги. Нельзя влить его болѣе емкости сосуда. Счастье только до извѣстной степени можетъ быть ощущаемо, смотря по впечатлительности, а потому бесполезно при одномъ счастьи желать другого...“—„Каждый человѣкъ живетъ и бьется за счастье, да и счастье-то маленькое, обыденное, всегда немного аплике. Другое дѣло счастье любви,—развѣ не покажется жизнью слишкомъ пустой послѣ него?... Я тщательно подобралъ счастье на дорогѣ своей жизни, описалъ его съ любовью и украсилъ своимъ воображеніемъ. Можетъ быть его было во сто кратъ меньше, чѣмъ несчастья, но въ чашку не кладутъ столько масла, сколько каши, и я готовъ за свое счастье все повторить,—всѣ несчастья свои и все горе и страшную тоску... Я всегда страстно и пламенно желалъ быть хорошимъ, добрымъ, честнымъ, гуманнымъ и сколько усилій, сколько зароконъ дѣлалъ и сколько горя испыталъ только потому, что не было выдержки, характера, вотъ этой самой культуры—и ничего не вышло! Скажу одно, что страсти и борьба сдѣлали меня снисходительнымъ къ людямъ и если-бы жизнь человѣческая была втрое-вчетверо продолжи-

тельнѣе, то къ концу второго столѣтія я могъ бы сдѣлаться культурнымъ человѣкомъ и исполнить свой идеалъ...“

Таковы взятыя въ разныхъ мѣстахъ романа главнѣйшія положенія автора, которыя онъ выводитъ изъ обратно представленныхъ примѣровъ. Изъ нихъ сами собою вытекаютъ многія другія заключенія общаго характера, Счастье—вещь условная и личная, его свойства—въ полной зависимости отъ особенностей натуры человѣка. Развитіе культуры осложняетъ счастье, но и дѣлаетъ его труднѣе достижимымъ. Мечты объ общемъ счастьи—удѣлъ умовъ юныхъ и незрѣлыхъ. Съ величайшей медленностью, при борьбѣ страстей и характеровъ, завоевывается каждая крупинка общаго счастья. Романъ г. Старостина написанъ не для юношей, вѣрщаихъ въ общее блаженство, золотой вѣкъ, молочныя рѣки, кисельные берега и другія, столь же прекрасныя вещи. А каково его заключеніе?

Въ послѣдней сценѣ мейерберовскаго „Пророка“ Іоанну Лейденскому, знавшему всѣ земныя почести и утѣхи, измѣняетъ все, ни въ чемъ, ни въ комъ не находитъ онъ поддержки и защиты. Тогда онъ склоняется на грудь старухи-матери, радостно погибающей вмѣстѣ съ нимъ. Похожа на это и послѣдняя мечта нашего рассказчика. Когда ему измѣнили удача, любовь и молодость, когда онъ извѣрился въ людяхъ, онъ мечтаетъ о домикѣ на живописномъ берегу Волги, гдѣ жилъ бы передъ лицомъ природы съ старухой-матерью. То же, что выразилъ нѣсколькими словами нашъ великій поэтъ: „На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля!..“

Уже своей полной противоположностью съ опостылѣвшими сочиненіями авторовъ ремесленниковъ, думающихъ сперва о гонорарѣ, а потомъ о содержаніи своихъ твореній книга г. Старостина внушаетъ интересъ. Какъ выводъ цѣлой жизни, она внушаетъ и уваженіе.

Оборотная сторона этихъ искреннихъ, но субъективныхъ дарованіе та, что они обречены на малую производительность или повторенія. Лучшій матеріаль даетъ имъ собственная жизнь, а она не повторяется два раза. Свойство это подтверждается и на г. Старостинѣ. Его повѣсть „Послѣдняя“ есть уже какъ бы клочокъ изъ романа, о которомъ только что говорилось. Писатели этого типа пишутъ одну личную вещь, въ которой выражаются цѣликомъ. Это люди одной пѣсни. Пѣсня эта спѣта и г. Старостинимъ. Но въ ряду произведеній своеобразныхъ, не похожихъ на другія, полно выражающихъ складъ оригинальной человѣческой особи, а потому интересныхъ, въ русской словесности книга его и романъ прибавятъ новое, памятное имя.

---

## МАТЕРИ ПОЭТОВЪ.

---

Книга профессора Поля Бастье, „La mère de Goethe d'après sa correspondance“, выходитъ въ то время, когда во Франкфуртѣ собираются ставить памятникъ Елизаветѣ Тексторъ, въ замужествѣ Гете. Памятникъ этотъ долженъ увѣковѣчить образъ не матери гениальнаго поэта, а самостоятельной писательницы большого и жизненнаго таланта. Только теперь, когда почти вся ея переписка увидѣла свѣтъ, Германія сдѣлала это пріятное открытіе.

Vom Vater hab'ich die Statur,  
Des Lebens ernstes Führen,  
Von Mütterchen die Frohnatur  
Und Lust zu fabulieren.

Это говоритъ самъ Гете въ знаменитомъ четверостишіи. Очаровательный образъ этой милой, веселой рассказчицы, неистощимой и чуткой корреспондентки, рисуетъ книга Бастье. Ея любовь къ жизни, интересъ ко всѣмъ ея явленіямъ, воспріимчивость и отзывчивость къ нимъ дошли до высшаго выраженія и классической красоты у того, кто „дышалъ одною жизнью“, не только съ людьми, но и съ природой. Эту живость ума передала великому Гете южанка Тексторъ, между тѣмъ какъ



серьезность, методичность и глубину онъ унаследовалъ отъ отца—сѣверянина.

Елизавета Тексторъ вышла замужъ рано, по волѣ родителей, не чувствуя особой любви къ жениху, человѣку не только почтенному, но и весьма красивому. Многія черты ихъ характеровъ составляли полную противоположность. Онъ, имперскій совѣтникъ, былъ человѣкъ спокойный, расчетливый, почти скупой, но честный и умный. Она любила все прекрасное, красивое, веселое, не знала лучшаго общества, какъ общество людей талантливыхъ, большей страсти, какъ страсть къ поэзіи и театру. Судьба поставила счастливаго сына между этими двумя прекрасными и противоположными натурами, гдѣ одна такъ умѣстно и счастливо умѣряла и дополняла другую.

„Когда Вольфгангъ появился на свѣтъ, пишетъ „Айя“, глаза его были закрыты и онъ не подавалъ признаковъ жизни. Но вдругъ бабушка его кликнула: „Елизавета, онъ живъ!“ Тогда сердце мое проснулось и съ тѣхъ поръ не перестаетъ биться съ однимъ и тѣмъ же радостнымъ энтузіазмомъ. Подумать, что жизнь эта зависѣла отъ одного дуновенія, жизнь, съ которой слита теперь жизнь миллионовъ сердецъ и которая для меня составляетъ все! Пусть въ тѣ дни, что мнѣ остается еще жить, называютъ меня просто матерью. Это слово обнимаетъ все мое счастье!“

„Mutter Aja“, „Frau Aja“,—имя, данное друзьями поэта, и утвердилось за его матерью на будущія времена.

Но въ ней говорило никакъ не тщеславіе. Съ удивительною скромностью въ одномъ письмѣ къ сыну отвергаетъ она всякую заслугу даже въ его

воспитаніи. Всѣ его достоинства она относитъ къ наслѣдію отца и счастливой игрѣ природы.

„Развѣ бы ты развился въ то, чѣмъ сталъ, если бы все это не жило въ тебѣ самомъ? Пусть стараются, пусть воспитываютъ учебныя заведенія всего міра: никогда не достигнутъ они ничего подобнаго. Ты выносишь больше изъ поѣздки отъ Фралакфурта до Майнца, чѣмъ другой вынесетъ, объѣхавъ полъ-свѣта“.

Другіе говорили объ этой самой скромницѣ, что все будило въ ней игру ума и счастливый даръ разсказа. „Ей не надо никакихъ особыхъ событій. Лучъ солнца, снѣжный вихрь, рожокъ почтальона—уже пробуждали въ ней чувства, воспоминанія и мысли“.

Бастье называетъ прямо Елизавету Гете нѣмецкой Севињи и подкрѣпляетъ свои слова многочисленными, прелестными выписками изъ ея писемъ. Въ нихъ—драгоцѣнныя черты нравовъ ея времени, страницы обыденной, закулисной исторіи, данныя для исторіи литературы и театра. Для исторіи развитія и жизни Гете, само собой разумѣется, это источникъ первоклассный.

Ея жизнь, честная, продолжительная и спокойная, не отличалась никакими внѣшними событиями. Ея значеніе—во внутреннемъ мірѣ, въ духовныхъ общеніяхъ, ее наполнявшихъ. Замѣчательны послѣднія ея минуты. Чувствуя уже несомнѣнное приближеніе смерти, Елизавета Гете не желала огорчать дѣтей раньше срока и упорно скрывала свое положеніе. Она скрывала его даже отъ ближайшихъ сосѣдей и, получивъ въ день смерти приглашеніе на вечеръ, написала: „Не могу

придти, такъ какъ черезъ минуту должна умереть". Эти строки и были послѣдними, написанными ею...

\* \* \*

Совершенно иной типъ представляетъ мать Жоржъ Занда, какъ изобразила ее по новымъ источникамъ и даннымъ, г-жа Тони-Д'Юльмесь въ обширномъ этюдѣ.

Дѣвическая фамилія Софіи Дюпэнъ была — Делабордъ. Отецъ ея торговалъ чижиками и щеглами въ клѣткахъ на Птичьей набережной въ Парижѣ.

Совсѣмъ юной, она отправилась въ Италію съ богатымъ возлюбленнымъ, котораго бросила, встрѣтивъ въ Миланѣ, въ 1800 году, молодого и блестящаго офицера Дюпэнъ де-Франкейля, сына побочной дочери знаменитаго маршала Морица Саксонскаго.

Когда двадцатидвухлѣтній Дюпэнъ вернулся во Францію, Софія Делабордъ послѣдовала за нимъ. Четыре года молодой Дюпэнъ боролся съ предрассудками своей матери, не желавшей этого брака, но въ 1804 году, отправляясь въ новый походъ, женился на своей подругѣ.

5-го іюля 1804 года, подъ звуки скрипки, которыми Дюпэнъ услаждалъ гостей, собравшихся въ его домѣ, г-жа Дюпэнъ, выйдя изъ гостиной, произвела на свѣтъ Марію Аврору Дюпэнъ, ставшую потомъ Жоржъ Зандомъ.

Мать Дюпэна прилагала всѣ старанія, чтобы признать бракъ недѣйствительнымъ, но побѣждена была весьма мирнымъ способомъ. Дюпэнъ послалъ къ ней девятимѣсячную дѣвочку на рукахъ кор-

милицы, и видъ прелестнаго ребенка доставилъ ему прошеніе и признаніе матерью его брака.

Софія Дюпэнъ сопутствовала мужу въ испанскомъ походѣ, по окончаніи котораго всѣ вмѣстѣ поселились въ наслѣдственномъ Ноганѣ. Здѣсь Морисъ Дюпэнъ былъ убитъ лошадыю во время прогулки верхомъ. Свекровь и невѣстка остались жить глазъ на глазъ, но это были двѣ натуры совершенно различныя, и онѣ не могли ужиться вмѣстѣ. Софія Дюпэнъ перебралась въ Парижъ, а Жоржъ Зандъ осталась на рукахъ бабушки. Когда послѣдняя умерла, Аврора перѣхала къ матери, но жить съ ней было трудно и несогласія царили между ними.

Софія Дюпэнъ была со странностями. Она, на примѣръ, постоянно перекрашивала въ разные цвѣта свои волосы. Впослѣдствіи каждую недѣлю надѣвала парикъ новаго цвѣта. Не будучи въ состояніи заниматься воспитаніемъ дочери, она поручила ее заботамъ друзей, нѣкихъ Дю-Плесси. Изъ ихъ дому Аврора и выдана была замужъ за Казиміра Дюдеванъ.

Г-жа Дюпэнъ не соглашалась на этотъ бракъ потому, что „носъ жениха ей не нравился“. Но бракъ состоялся и былъ несчастливъ. Аврора бросила мужа и Ноганъ и отправилась искать литературной удачи въ Парижѣ.

Г-жа Дюпэнъ вполнѣ одобряла первые, нелестные отзывы критики о романахъ ея дочери и осыпала ее упреками. Потомъ она прочла самыя книги и стала восторженной почитательницей ихъ автора.



Она жила послѣдніе годы въ Парижѣ, въ маленькой квартиркѣ. Заболѣвъ серьезно, она пожелала перебраться въ больницу. Совсѣмъ больную, ее катали въ Елисейскихъ Поляхъ. „Въ Парижѣ вѣчный праздникъ,—воскликнула она,—развѣ можно умереть въ Парижѣ?“ Воротясь домой, она попросила, чтобъ ее расчесали, взяла въ руки зеркало, чтобъ взглянуть на себя, и въ эту минуту мгновенно скончалась.

---

# МОРАЛИСТЫ И КОЕ ЧТО ИЗЪ ОБЛАСТИ МОРАЛИ.

Ф У Р Ь Е.

---

„Въ прежнія времена провидцевъ побивали камнями. Въ наше время надъ ними смѣются, но воздвигаютъ имъ памятники“. Такими словами началъ одинъ писатель свою поминку о Шарлѣ Фурье (1772 — 1873), памятникъ которому поставленъ недавно въ Парижѣ. Съ этой практической и современной точки зрѣнія разсматриваетъ онъ теоріи и планы Фурье, отдѣляя въ нихъ то, что явилось осуществимымъ и возможнымъ и что дало плодъ, отъ нелѣпостей и мечтаній, какими отличалось въ цѣломъ ученіи этого соціолога-утописта, ума большого, но чисто-теоретическаго, оторваннаго отъ жизни и мало знавшаго и ее, и людей.

Довольно извѣстно свойство человѣчества: имѣя дѣло съ какимъ-нибудь явленіемъ быта и науки, не справляться о томъ, кому мы обязаны ихъ возникновеніемъ? Довольные достигнутыми результатами, мы пользуемся даваемыми ими преимуществами и удобствами и, выражаясь словомъ русскаго поэта,

Съ дерева невѣдомаго плодъ,  
Безпечные, безопасно мы срываемъ...

---

\*) Jules Rois.

Каковы бы ни были грѣхи мечтателя-утописта, вродѣ Фурье, ученіе котораго впрочемъ почти и осталось въ области теоріи, слѣдуетъ все же отдать ему дань признательности за то, что введено его мыслию въ жизнь здраваго и полезнаго. А многіе ли знаютъ, что ему мы обязаны возникновеніемъ безчисленныхъ теперь кооперативныхъ обществъ и спасительной идеей страхованія въ разнообразныхъ ея примѣненіяхъ? Изъ мыслей его, такъ или иначе примѣняемыхъ къ дѣлу современнымъ людемъ, отмѣтимъ еще идею децентрализаціи и расширенія правъ женщинъ. Онъ былъ однимъ изъ пламеннѣйшихъ сторонниковъ идеи мира. Вегетаріанцы и общества покровительства животнымъ обязаны своимъ существованіемъ также этому странному человѣку, носившему въ себѣ мысли глубокія и благородныя, наряду съ самыми рѣзкими увлеченіями, съ предположеніями самыми дикими и неосуществимыми.

Въ ученіи своемъ онъ ставитъ трудъ не противъ капитала, а на ряду съ нимъ, работающими рука объ руку, присоединяя къ нимъ третій элементъ — талантъ или умъ, которому даетъ чисто коммерческую цѣнность \*). Нѣчто подобное осуществляется нынѣ въ кооперативныхъ обществахъ. Наиболѣе нашумѣвшимъ его проектомъ былъ проектъ созданія фаланстеровъ и фамилистеровъ. Безсемейный и одинокій мечтатель Фурье предлагалъ

---

\*) Идя далѣе по пути мечтаній, онъ предлагаетъ, чтобы люди таланта и инициативы содержались на общественный счетъ.

создать человѣческія поселенія по образцу одной огромной семьи, на основаніяхъ солидарности, независимой, но руководимой сознаниемъ общей пользы. Многіе опыты этого рода во Франціи и Сѣверной Америкѣ потерпѣли крушеніе. Но одинъ изъ французскихъ фамилистеровъ держится и существуетъ. Это городокъ Гизъ въ департаментѣ Эны. Тамъ можно видѣть „Общественный Дворецъ“, населенный тысячами рабочихъ. Квартира изъ двухъ комнатъ, съ передней и кладовой, стоитъ въ немъ, въ первомъ этажѣ, 9 франковъ 60 сантимовъ въ мѣсяцъ, во второмъ—8 франковъ 40 сантимовъ. Здѣсь устроены отдѣленія для кормленія грудныхъ дѣтей и для едва начинающихъ ходить малютокъ, начальный классъ грамоты, мѣста для дѣтскихъ прогулокъ, мясной складъ, булочные, кухня, ресторанъ, мастерскія, залы для игръ, кафе и казино для взрослыхъ лицъ. Фамилистеры предоставляютъ также своимъ обитателямъ докторовъ, прачешную, бани, садокъ для рыбы и газовое освѣщеніе при всякой надобности.

Казавшіеся сначала столь дикими фамилистеры нашли себѣ подобіе въ устройствѣ большихъ магазиновъ и тѣхъ космополитическихъ гостиницъ, съ номерами во всѣ цѣны, общими столовыми и пр., которыя достигаютъ въ нѣкоторыхъ столицахъ колоссальныхъ размѣровъ. Разница лишь въ томъ, что прибыль отъ этихъ учрежденій идетъ въ пользу ихъ хозяевъ и что стоимость жизни въ нихъ гораздо дороже.

На этихъ указаніяхъ и примѣрахъ кончается то, тѣмъ потомки могутъ добромъ помянуть фран-



цузскаго утописта, и мы вступаемъ далѣе въ область его бредней. Въ основу морали онъ кладетъ не какой-нибудь отвлеченный принципъ, а наши страсти, или, по его выраженію, „влеченія“. Развивать свои страсти, удачно примѣняя ихъ, такова основа его нравственныхъ правилъ. Въ основу отношеній половъ между собою онъ положилъ полную свободу, „гармоническія отношенія“, являющіяся попросту свободной любовью. Какъ единственную узду для такихъ отношеній онъ предлагаетъ образованіе отдѣльныхъ группъ людей по температурамъ: люди сдержанные и вѣтреные, страстные и холодные, неукротимые и цѣломудренные. На ряду съ „весталками“ и „весталами“, предлагаются менѣе строгіе „damoiseaux“ и „damoiselles“ и узаконяется существованіе класса „вакханокъ“.

Простирая любовь свою къ человѣчеству до невѣроятной слабости, Фурье пришелъ къ выводу о необходимости дать исходъ склонности къ переменамъ и разнообразію, какія мы называемъ капризомъ, а онъ звалъ „мотыльковымъ чувствомъ“. Въ фаланстерѣ женщина отдается кому ей угодно. У нея нѣтъ господина. И если ея темпераментъ бросаетъ ее въ объятія многихъ, она не становится презираемой отъ этого. Защитники такихъ порядковъ говорятъ, что зато ни одна женщина въ фаланстерѣ не обязана отдаваться кому-нибудь, между тѣмъ какъ въ нашемъ обществѣ жена обязана принадлежать мужу и существуютъ несчастныя созданія, вынужденныя, чтобы жить, продаваться первому встрѣчному. Надо ли говорить, что изъ доктринъ Фурье идея свободной любви встрѣтила

наиболѣе успѣха у первоначальныхъ его послѣдователей.

Его идеи мира приводили къ выводамъ о ненужности войскъ. Но взамѣнъ армій бойцовъ, онъ проектировалъ „арміи работников“, которыя производили бы труды и предпріятія, имѣющіе значеніе общей пользы. Политическія событія нашего вѣка достаточно показали, насколько могутъ еще народы обходиться безъ армій и организованнаго войска. Любовь и состраданіе къ животнымъ были прекрасною чертою мысли Фурье. Но фантазія примѣшивалась у него и къ этимъ мыслямъ, и онъ видѣлъ день, когда, дружныя и подчиненныя намъ, чудовища морей будутъ двигать корабли, а нынѣ дикіе звѣри—экипажи. Но услуги почтовыхъ голубей показали, что не все было вздоромъ въ мечтаніяхъ Фурье и что въ животномъ царствѣ есть еще созданія, изъ которыхъ мы можемъ извлечь удовольствіе и пользу, вмѣсто того чтобы слѣпо и жестоко истреблять ихъ.

Фурье предсказалъ нашу современную быстроту передвиженій и прорытіе Суэзскаго канала. И на ряду съ этимъ онъ опредѣлилъ почему-то время существованія нашей вселенной цифрою 80 тысячъ лѣтъ; шесть тысячъ лѣтъ несчастія, семьдесятъ „гармоніи“ и четыре упадка. По его мнѣнію, міръ находится теперь едва лишь въ состояніи отрочества. Природа управляется, по воззрѣнію его, тремя силами: Богомъ, матерей и справедливостью, или математикой...

Безуміе Фурье отличалось той особенностью, что носило въ себѣ сознаніе своей ненормально-

сти. Онъ возставилъ лишь противъ огульнаго осужденія своего ученія, повторяя не разъ: „Ньютонъ написалъ невѣроятный бредъ объ Антихристѣ и Апокалипсисѣ. А все же его теорія притяженія не теряетъ отъ этого своего значенія“. Какъ видимъ, потомство такъ и взглянуло на страннаго мечтателя, отдѣливъ въ его мысляхъ зерно отъ плевель.

Лично Фурье былъ скромный, добрый и умѣреннѣйшій человѣкъ, жившій перепиской бумагъ, одинокимъ холостякомъ, среди цвѣтовъ и кошекъ. Каждый день онъ ждалъ, что къ нему явится какой-нибудь богачъ или король и предложитъ средства на осуществленіе его теорій, но посѣтителя этого не дождался никогда.

---

## ЭРНЕСТЪ РЕНАНЪ ВЪ НОВѢЙШИХЪ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ.

---

Десятилѣтняя годовщина смерти Эрнеста Ренана и постановка памятника ему на родинѣ, въ Бретани, оживили память о знаменитомъ ученомъ писателѣ. Ораторами при открытіи монумента, послѣ представителей оффиціального міра, выступили Бертело и Анатоль Франсъ. Рѣчь послѣдняго вышла отдѣльной брошюрой а вскорѣ послѣ того появились воспоминанія о Ренанѣ ближайшаго его сотрудника и друга, знаменитаго эпиграфиста и знатока древняго семитическаго Востока, Филиппа Берже.

По опредѣленію Франса, главную опору человѣческой науки Ренанъ видѣлъ въ наблюденіи надъ человѣчествомъ, въ изученіи его судьбъ. Онъ историкъ по преимуществу. Исторія для него единственный источникъ познанія измѣняющихся вещей. А всѣ вещи, по его понятію, преобразуются и видоизмѣняются. Теорія мирового трансформизма, ученіе о непрерывной эволюціи существъ и видоизмѣненіи феноменовъ природы—краеугольный камень его воззрѣній. Языкъ, будучи непосредственнымъ продуктомъ человѣческаго сознанія, измѣ-



няется вмѣстѣ съ нимъ. Наука о языкахъ есть, слѣдовательно, лишь ихъ исторія. Тоже относится къ философіи и литературѣ. Наука о человѣческомъ разумѣ есть исторія человѣческаго разума. Отъ научнаго догматизма Ренанъ оторвался съ первыхъ шаговъ своей дѣятельности и къ исторіи языковъ и религій примѣнилъ историческую критику.

Труды, посвященные этимъ задачамъ, наполнили его жизнь. Послѣдній томъ „Histoire d'Israël“, долженствовала установить связь между развитіемъ христіанства и юдаизмомъ, конченъ имъ за годъ до смерти. Онъ писалъ тогда, что можетъ спокойно глядѣть въ лицо смерти, такъ какъ теперь для труда его нуженъ только хорошій корректоръ. Закончивъ большія работы, между которыми чисто документальный „Corpus inscriptionum semiticarum“ занималъ его не меньше другихъ, онъ говорилъ, что „можетъ немного и позабавиться“. Его забавами было сочиненіе философскихъ драмъ и діалоговъ, въ которыхъ, въ менѣе суровой формѣ, онъ излагалъ свои мысли, вѣрялъ невѣдомымъ друзьямъ-читателямъ свои надежды, опасенія и сомнѣнія, его одолѣвшія, выражалъ свою вѣру. А основаніемъ его вѣры было то, что будущее принадлежитъ наукѣ и разуму.

Его нравственные воззрѣнія были воззрѣніями чистаго ученаго. Онъ считалъ, что благороднѣйшая цѣль, какую можно дать человѣческой жизни, это—проникновеніе въ тайны вселенной. Человѣчество было ему дорого потому, что оно рождаетъ науку. Онъ поклонялся честности и доброй прав-

ственности, такъ какъ однѣ честныя расы суть расы, полезныя для научной работы. Его политическія воззрѣнія вытекали изъ воззрѣній нравственныхъ. Правительство, наиболѣе благопріятствующее интересамъ науки, было для него самое лучшее. Въ одной изъ своихъ драмъ онъ символизировалъ просвѣщенную власть и демократію въ образахъ Просперо и Калибана. Онъ боялся дикости Калибана, его некультурности. Но если интересы науки могли быть соблюдены, то готовъ былъ примириться и съ Калибаномъ.

Литературное искусство Ренана было велико. Девизомъ его была совершенная простота. Онъ боялся „краснорѣчія“ и ненавидѣлъ риторику. Его прозрачное слово не столь близко къ рѣчи латинцевъ, какъ къ рѣчи грековъ, наиболѣе утонченной и не поддающейся подражанію. Подобно грекамъ, онъ избѣгалъ напыщенности, декламаціи. Во всѣ свои книги онъ вложилъ много искусства, такъ какъ все проникнуто у него стройностью и порядкомъ. Способъ изложенія онъ всегда подчинялъ темѣ, а подробности—основному и главному...

Скульпторъ, сдѣлавшій статую Ренана, вспоминая его „Молитву на Акрополѣ“, поставилъ возлѣ него Аѳину-Палладу. Мысль художника Франсъ находить счастливой. Гомеръ повѣствуетъ, что Аѳина имѣетъ обычай спускаться съ небесъ для бесѣды съ тѣми, кто ей дорогъ. И Франсъ вкладываетъ въ ея уста такія слова, обращенныя къ Ренану:

„Я—мудрость. Самымъ лучшимъ людямъ трудно узнать меня сразу, такъ какъ меня окутываютъ облака и покровы и

такъ какъ я иногда сурова и грозна. Но ты, мой нѣжный Кельтъ, ты искалъ меня всегда и, всякій разъ какъ встрѣчалъ, раскрывалъ весь свой умъ и все сердце, чтобы меня узнать. Все, что ты писалъ обо мнѣ, поэтъ,—истинно. Греческій геній заставилъ меня сойти на землю, и я покинула ее, когда этотъ геній угасъ. Варвары, нахлынувшіе въ міръ, управлявшійся по моимъ законамъ, не знали чувствъ стройности, мѣры и гармоніи. Красота пугала ихъ и казалась имъ зломъ. Видя, что я прекрасна, они не повѣрили, что я мудрость. Они изгнали меня. Когда, разсѣявъ десятивѣковую ночь, забрезжила заря Возрожденія, я вернулась вновь на землю. Я посѣщала гуманистовъ и философовъ въ ихъ кельяхъ, гдѣ они бережно хранили на днѣ ящиковъ нѣкоторые свитки и книги; живописцевъ и ваятелей въ ихъ мастерскихъ, бывшихъ просто бѣдными лавочками ремесленниковъ. Мало-по-малу приверженцы мои увеличились въ численности и силѣ. Французы первые воздвигли мнѣ алтари. И цѣлый вѣкъ ихъ исторіи принадлежитъ мнѣ.

Съ тѣхъ поръ, съ того времени, какъ мысль въ высшихъ своихъ областяхъ свободна, я принимаю непрерывно поклоненіе ученыхъ, художниковъ и философовъ. Но можетъ быть, ты былъ самымъ преданнымъ и самымъ нѣжнымъ моимъ поклонникомъ. Отъ тебя неслись ко мнѣ самыя жаркія и самыя чистыя молитвы. На моемъ святомъ Акрополѣ, предъ разрушеннымъ Пароенономъ ты привѣтствовалъ меня прекраснѣйшимъ словомъ, какое произносилось въ этомъ мірѣ, съ тѣхъ поръ, какъ мои пчелы возлагали свой медъ на уста Софокла и Платона.

Безсмертные обязаны больше, чѣмъ полагаютъ, своимъ поклонникамъ. Они обязаны имъ жизнью. Это тайна, въ которую ты былъ посвященъ. Они питаются испареніями изъ крови жертвъ. Ты знаешь, что это надо разумѣть въ томъ смыслѣ, что ихъ сущность образуется изъ мыслей и чувствъ людей. Приношенія добрыхъ людей питаютъ добрыхъ боговъ. Черныя закланія невѣжества и злобы идутъ на пользу богамъ жестокимъ. Ты сказалъ это: боги не болѣе безсмертны, чѣмъ люди...

Я, Паллада-Аѳина, свѣтлоокая богиня, обязана тебѣ тѣмъ, что живу еще. Но продлить кое-какъ жизнь еще ничего не

значить. Ты сдѣлалъ меня болѣе прекрасной, чѣмъ я была прежде, и болѣе великой. Ты влилъ въ меня свою силу, твое ученіе и, при твоей помощи, при помощи тѣхъ, кто на тебя похожи, умъ мой расширился, его объемъ раздвинулся и въ состояніи вмѣстить въ себѣ вселенную Кеплера и Ньютона...

Что такое государства древности въ сравненіи съ современными великими народностями? О мудрецы, вы открыли предо мной горизонтъ болѣе обширный, чѣмъ имперія римлянъ. Вы показали мнѣ на тверди земли, трепещущей отъ волнъ пара и удара электрическихъ искръ, громадныя народности, прежде враждебныя, еще соперничающія, грозно глядящія другъ на друга и вооруженныя, но всѣ охваченныя стальной сѣтью, какою наука и промышленность обволокли земной шаръ; города, народы, племена, миліардъ шестьсотъ тысячъ людей, работающихъ одни для другихъ, не знающихъ или ненавидящихъ одинъ другого, посреди узъ, какими взаимно уже соединены.

Какъ уладится столкновеніе всѣхъ этихъ энергій и страстей? Кто побѣдитъ? Злоба или любовь, невѣжество или наука, война или миръ, варварство или просвѣщеніе? Не спрашивай меня. Будущее скрыто даже отъ тѣхъ, кто его создаютъ. Не спрашивай, какова будетъ жизнь будущаго общества. Но знай, что я — строитель и геометръ, и не напрасно ученые и философы опять призвали меня на землю... Будущее не ошибется: мою работу узнаютъ по ея устойчивости. Зданія, воздвигнутыя невѣжествомъ и заблужденіями, падаютъ въ прахъ. Ты сказалъ это: ничто не прочно, ничто не устойчиво, кромѣ того, что было разсчитано и размѣрено мною, такъ какъ я — предусмотрительность, порядокъ и стройность, такъ какъ я — мысль всѣхъ мыслящихъ людей, наука всѣхъ людей знанія, твоя наука и твоя мысль, о Ренантъ!"

Въ рѣчи Франса отведено мѣсто и обрисовкѣ личности философа, но съ нею, въ ея ежедневной, обыденной обстановкѣ еще ближе знакомятъ замѣтки его, ученаго сотрудника.

Воспоминанія Берже относятся къ послѣднему періоду жизни Ренана, періоду зрѣлости и славы,



двадцати послѣднимъ годамъ его трудолюбиваго существованія.

На склонѣ дней Ренана неудержимо потянуло на родину, въ Бретань, отъ которой онъ былъ оторванъ такъ долго. Желаніе свое онъ осуществилъ въ 1885 году, нанявъ на долгій срокъ просторную усадьбу въ удаленномъ отъ большихъ путей бретанскомъ захолустьѣ. Все напоминало ему здѣсь далекіе годы прошлаго, его дѣтство. Но занятія наукой и ученые интересы стали второю частью его существа, и изъ уединеннаго Розмапамона онъ чуть не ежедневно шлетъ письма друзьямъ, толкуя въ нихъ объ ученыхъ матеріяхъ, зоветъ друзей этихъ къ себѣ. Продолжая усердно работать и въ деревнѣ, онъ часто нуждается въ справкахъ, провѣркѣ текстовъ и проч., и письма его—смѣсь впечатлѣній поэта съ пытливыми вопросами спеціалиста-ученаго. Общество Берже, какъ ближайшаго сотрудника, было ему особенно пріятно. И лѣтняя разлука нашихъ ученыхъ перемежалась перепиской и частыми свиданіями.

Деревенскій домъ Ренана стоялъ среди кущей зелени, въ очень близкомъ разстояніи отъ моря, отъ котораго былъ отдѣленъ только рядами вязовъ и буковъ, росшихъ у начала отмели. Деревня расположена позади усадьбы, съ веранды которой видна только проѣзжая дорога, идущая вдоль берега моря.

Въ этомъ простомъ бѣломъ домѣ текла и простая жизнь, всѣ подробности которой подчинялись бытію, всецѣло посвященному идеалу. Стѣны комнатъ увѣшаны были картинами Ари Шефера, на

дочери котораго Ренанъ былъ женатъ, да разными воспоминаніями былого, межъ которыхъ свѣжіе цвѣты вносили живую ноту. Рабочая комната помѣщалась въ первомъ этажѣ, — совершенно простая комната съ огромнымъ столомъ, заваленнымъ бумагами, да двумя-тремя грудями книгъ.

Утромъ хозяина дома не было видно, — онъ работалъ. Полуденный колоколъ собиралъ семью къ завтраку. Ренанъ выходилъ иногда раньше и усаживался на скамейкѣ въ саду. Тамъ онъ бесѣдовалъ съ Берже объ общихъ работахъ, спрашивалъ обо всемъ, что его интересовало, разрѣшалъ трудные вопросы, намѣчалъ планъ дальнѣйшаго хода дѣлъ и, двумя-тремя словами давалъ начатымъ ученымъ трудамъ, всѣ нити которыхъ были въ его рукахъ, надлежащій ходъ и направленіе.

Обѣдъ былъ временемъ отдыха и бесѣды. Живописные рассказы, старинныя воспоминанія, ученныя объясненія и неожиданныя толкованія старыхъ словъ, старыхъ бретонскихъ обычаевъ возникали по всякому поводу и лились рѣкой.

За столомъ подавался сидръ, и, сверхъ того, Ренанъ выпивалъ маленькій стаканчикъ бордо. Онъ вообще почти не пилъ вина, хотя имѣлъ крѣпкую голову, и до извѣстной степени гордился этимъ, какъ характерною чертою бретонской расы. Во время празднествъ въ честь Спинозы, на которыхъ присутствовали выдающіеся ученые всего міра, торжественный банкетъ, по германскому обычаю, заключился возліяніями въ винномъ погребѣ. Ренанъ, присутствовавшій тамъ и волей-неволей принужденный слѣдовать общему примѣру, сохра-

нили всю ясность мысли и закрылъ собраніе латинскою рѣчью, произнесенною въ два часа ночи и очаровавшею всѣхъ присутствовавшихъ.

Возвышенность мысли и чувствъ Ренана сообщалась всѣмъ окружающимъ. Онъ былъ вѣренъ въ дружбѣ, слѣдилъ за судьбою своихъ друзей на всѣхъ путяхъ ихъ жизни, часто вспоминалъ и говорилъ о нихъ. Другихъ людей онъ какъ бы не зналъ. Никогда не говорилъ онъ худо ни о комъ, и раздраженіе питалъ только противъ тѣхъ, кто сознательно дѣлалъ зло или совершалъ несправедливость.

Очень рѣдко бесѣда его казалась высшихъ вопросовъ философіи. Онъ оставлялъ ихъ для тиши кабинета. Онъ не любилъ рисоваться широковѣщательными рѣчами, которыми другіе выражаютъ одолеваяющія ихъ сомнѣнія. Все, что напоминало педантизмъ, приводило его въ ужасъ. Человѣкъ, имѣющій убѣжденія, принесшій ради нихъ всякія жертвы, какимъ былъ Ренанъ, не имѣетъ надобность выкрикивать ихъ по всякому поводу. Къ тому же сомнѣніе, вѣчное сомнѣніе, удерживало его отъ всякихъ рѣшительныхъ утвержденій. Ренанъ больше любилъ слушать другихъ. Полузакрывъ глаза, благодушно улыбаясь, онъ какъ бы продолжалъ грезить на яву самъ съ собою. Но если надо были высказаться, мысль его, ясная и трепещущая, вылетала какъ птица, разъясняя и углубляя вопросъ или сомнѣнія.

Одною изъ трогательныхъ чертъ характера Ренана была его любовь къ животнымъ. У него былъ ручной попугай, унаслѣдованный отъ извѣстной

актрисы Дежазе. Но любимцемъ его и всей семьи былъ великолѣпный черный ангорскій котъ.

Желая войти въ комнату, котъ царапалъ дверь. Сейчасъ же шли отворять ему. Онъ величественно входилъ, вскакивалъ на спинку кресла Ренана и оттуда, черезъ его плечо, на письменный столъ, который обходилъ вокругъ, тщательно избѣгая чернильницы, но безцеремонно попирая бумаги бѣлыми лапами. Удостоверившись, что все было въ порядкѣ, однимъ прыжкомъ онъ соскакивалъ на землю и принимался за собственную работу. Работа эта состояла въ терзаніи какого-то весьма большого и весьма плохого справочника, отданнаго ему въ жертву. Другихъ книгъ котъ не трогалъ никогда. Натѣшившись надъ справочникомъ, котъ жалобно мяукалъ, что означало желаніе уйти изъ кабинета. Аудіенція этимъ заканчивалась.

Берже рассказываетъ подробно объ общихъ ученыхъ работахъ, о необыкновенной разносторонности, памяти и богатствѣ свѣдѣній Ренана и съ особенною любовью вспоминаетъ прогулки и бесѣды съ нимъ на берегу моря. „Всѣ мелкія и личныя заботы исчезли, и предъ нами была одна красота науки и вѣрность долгу, чему такой яркій примѣръ подавалъ Ренанъ. Эти бесѣды, простыя и чуждыя фразъ, были, конечно, недалеки отъ разговоровъ Сократа съ учениками на берегахъ ручья Иллиса“.

Европейская извѣстность давно уже окружала имя Ренана. Во время путешествія своего въ Италію и Сицилію, гдѣ онъ былъ привѣтствованъ съ необыкновеннымъ почетомъ и ученымъ міромъ, и



публикой, онъ сдѣлался даже жертвою этой славы. Какіе-то энтузіасты, войдя въ соглашеніе съ почтовыми чиновниками, похищали на почтѣ его письма, изъ которыхъ ни одно не дошло по назначенію.

Ренанъ простудился въ вагонѣ, возвращаясь съ съ юга въ Парижъ. Лѣтомъ 1892 года положеніе его уже было очень плохо. Онъ шлетъ Берже послѣднее письмо, наполненное научными вопросами и выражаетъ скорбь, что не можетъ его видѣть, такъ какъ лишился голоса и не можетъ говорить. Но съ прежнимъ, энтузіазмомъ говорить онъ о трудѣ и ученой работѣ: „О, будемъ работать, пока есть силы, а старость... Ахъ, не старѣйтесь, не старѣйтесь, дорогой Берже!...“—Это были послѣднія его слова, обращенныя имъ къ пріятелю, и послѣдній протестъ противъ непобѣдимаго зла, предъ которымъ безсильны и вѣрность долгу, и научная непоколебимость, и разумъ, и философія...

---

## АПОЛОГІЯ ДѢЛОВОГО МІРА.

---

Вышло сочиненіе извѣстнаго жертвователя на дѣла просвѣщенія, американца Эндрыю Карнеджи, озаглавленное характернымъ словомъ „Business“ (Дѣловая сфера). Предварительно Карнеджи, прочелъ въ одномъ изъ американскихъ университетовъ лекцію, излагающую „основныя мысли книги. Извѣстно, что Карнеджи, несмотря на свою благотворительность, не слѣдуетъ примѣру евангельскаго богача, совсѣмъ отрешагося отъ богатствъ. Онъ призываетъ, напротивъ, къ усиленной дѣятельности съ цѣлью обогащенія, дающаго въ послѣдствіи возможность къ благотворенію. Лекцію свою онъ прочелъ юношамъ,—увы!—вѣроятно болѣе заинтересованнымъ первую половиною ея программы, чѣмъ второй. Это была чисто американская аудиторія. Лекторъ говорилъ не о возвышенномъ и великомъ, не „о Шиллерѣ, о славѣ, о любви“, а о путяхъ къ обогащенію. Быть можетъ слушатели были увлечены, но это было увлеченіе особаго рода...

Изъ приличія, лекторъ выразилъ увѣренность, что жадно внимавшую ему толпу слушателей привлекли не однѣ мечты о богатствѣ, а также

соображенія о томъ, какую арену для развитія способностей, энергіи, духа предприимчивости и другихъ прекрасныхъ свойствъ представляетъ дѣловая сфера и какую пользу можно принести въ ней обществу. Какъ бы чувствуя нетерпѣніе слушателей, онъ сейчасъ перешелъ однако къ вопросу о средствахъ, оставляя цѣль впереди, въ видѣ отдаленной, едва мелькающей точки.

Карнеджи изобразилъ, каковъ долженъ быть ходъ дѣятельности молодого человѣка, желающаго преуспѣть въ дѣлахъ. Такой молодой человѣкъ долженъ избрать одну „спеціальность“ и не уклоняться отъ нея, гоняясь за двумя-тремя. Первый шагъ его по лѣстницѣ успѣха, первое повышеніе послѣдуетъ тогда, когда онъ дастъ замѣтить „хозяину“, что служить не ради одного жалованья, но и для дѣла. Онъ долженъ выдѣлиться нѣсколькими поданными мнѣніями, слѣдить за литературой и научной областью, соприкасающимися съ „дѣломъ“. Дѣловой человѣкъ нынѣшняго времени долженъ читать, изучать и проникать въ сущность вещей, чтобы избѣжать опасностей, окружающихъ нынче „дѣла“ со всѣхъ сторонъ, поучительно объяснилъ лекторъ.

Второй шагъ карьеры, несмотря на подраздѣленіе, дѣлаемое Карнеджи, почти тотъ же, что и первый. Молодой человѣкъ укажетъ хозяину упущенія въ дѣлѣ, улучшенія, какіе надо бы произвести. Хотя хозяинъ и будетъ сердиться, и „гнѣвъ его будетъ окутывать юношу“—(въ переводѣ на обыкновенный языкъ—хозяинъ будетъ ругаться),— молодой человѣкъ долженъ все претерпѣть, ибо

выиграетъ въ послѣдствіи. Успѣхъ молодого человѣка уже какъ бы обезпеченъ. Хозяинъ оцѣнилъ его и говоритъ себѣ: „Этотъ юноша стоитъ миллионъ“. Высота, какой достигнетъ послѣ этого юноша на лѣстницѣ успѣха, зависитъ теперь отъ него самого. Понятно, что личныя свои наклонности, привычки и пр. юноша долженъ принести въ жертву дѣлу. Если, при всемъ этомъ его не замѣтитъ собственный патронъ, то замѣтятъ другіе.

Затѣмъ молодой человѣкъ вступаетъ уже въ свѣтлую область. Ставшаго необычайно полезнымъ и необходимымъ, его берутъ въ сотоварищи въ предпріятіи. Конечно, для этого надо не мало выдающихся, особыхъ данныхъ. Но эти „сотоварищи“ постоянно появляются то тутъ, то тамъ. „Въ организмъ дѣла необходимо постоянно вливать свѣжую кровь“... Неизвѣстно, не почувствовали ли слушатели Карнеджи въ этомъ мѣстѣ его лекціи нѣкотораго разочарованія. Онъ не произнесъ до сихъ поръ магическаго слова и не сказалъ „особеннаго“ ничего. Несмотря на призывы „къ честности, одной честности“, начертанная имъ программа мало чѣмъ отличается отъ классической карьеры „старшаго приказчика“, входящаго въ довѣріе къ Китъ Китычу и становящагося его сотоварищемъ, взявъ себѣ въ жены его единственное пышнотѣлое чадо...

Карнеджи поучаетъ далѣе, что нѣтъ дѣла, которое не могло бы имѣть успѣха, такъ какъ всякое дѣло отвѣчаетъ какой нибудь потребности общества. А для успѣха достаточно честности, ума и настойчивости. Ведите ваше дѣло хотя съ нѣ-



сколько большимъ искусствомъ, чѣмъ обыкновенный, средній человѣкъ, и вашъ успѣхъ обезпеченъ. Онъ будетъ пропорціоналенъ размѣру ума и стараній, какими вы превзойдете обыкновеннаго человека.

Далѣе Карнеджи изрекаетъ не совсѣмъ новую истину, что образованный человѣкъ предпочтительнѣе въ дѣлахъ необразованнаго или „человѣка одной практики“, и, чтобы окрылить надежды слушателей, рассказываетъ поучительныя исторіи о двухъ молодыхъ прекрасныхъ юношахъ, изъ которыхъ одинъ женился на дочери своего богача-патрона, а другой... тоже женился на такой же дочери! Не забывайте однако, милые юноши, что молодые люди прежде всего заслужили довѣріе своихъ хозяевъ, а потомъ уже влюбились въ ихъ дочерей и встрѣтили ихъ взаимность. Слѣдуйте и вы тому же порядку и не вздумайте поступать обратно! Вѣроятно во вниманіе къ молодымъ лицамъ слушателей, Карнеджи увѣряетъ ихъ, что въ дѣловой жизни есть мѣсто роману и чувству. „Чѣмъ значительнѣе дѣло, чѣмъ больше оно процвѣтаетъ и чѣмъ полезнѣе, тѣмъ,—говорю это по личному опыту,—вы больше встрѣтите въ немъ романа и воображенія. Самые большіе успѣхи въ дѣлахъ—обязаны поэзіи, чувству, воображенію. Это особенно справедливо, когда касается предпріятій, имѣющихъ отношеніе къ цѣлому міру...“ Этого, столь же широковѣщательнаго, сколько и загадочнаго положенія, къ сожалѣнію, Карнеджи подробнѣе не разъясняетъ...

Дѣловая карьера, по мнѣнію Карнеджи, пред-

почтительнѣе въ нравственномъ отношеніи почти всѣмъ другимъ. Художественная дѣятельность способствуетъ узкости ума, развиваетъ самомнѣніе, злопамятность, зависть, въ противность тому, что мы видимъ у превосходныхъ дѣловыхъ людей. Музыка, живопись, скульптура, казалось, должны бы возвышать характеры... На дѣлѣ мы видимъ обратное. Искусство—дѣло исключительно личное и, въ качествѣ такого, порождаетъ личныя, низменныя страсти. Душа художника—узкая, заражена предразсудками. Въ ученыхъ карьерахъ спеціализація ведетъ также къ печальнымъ послѣдствіямъ. То же и въ мірѣ юриспруденціи. Люди, изучающіе законы, плохо управляютъ другими. Послѣдствіе всякихъ профессиональных занятій—дѣлать умъ яснымъ быть можетъ въ извѣстной области,—но узкимъ.

Человѣкъ дѣловой, наоборотъ, имѣетъ и долженъ имѣть разносторонній и многообъемлющій умъ. Ему надо знать не только положеніе вещей въ современности вообще, но имѣть въ виду и то, что касается будущаго, чтобы быть готовымъ, съ извѣстной долей увѣренности, ко всякимъ случайностямъ.

Коммерсантъ долженъ знать не только свое отечество, но и другіе страны. Умъ его долженъ распространяться на весь міръ, такъ какъ ничто не совершающееся въ мірѣ не остается безъ вліянія на его дѣла. Онъ долженъ владѣть важнѣйшимъ свойствомъ—быть знатокомъ и вѣрнымъ цѣнителемъ людей и извлекать „лучшее“ изъ характера каждаго. У него должна быть способность

организаціи, искусство въ выполненіи дѣла, умѣнье принимать быстрыя и мудрыя рѣшенія.

Ни одно изъ этихъ рѣдкихъ качествъ не нужно въ такой степени людямъ другихъ профессій, какъ „человѣку дѣла“. Поэтому, дѣловая карьера не только изощряетъ умъ, но и расширяетъ способности. Она имѣетъ то свойство, что не приковываетъ уже къ узкимъ условностямъ, но заставляетъ опираться на широкія основы. Ни одна профессія не обнимаетъ столько задачъ, не требуетъ такой широты воззрѣнія. Правда, что цѣли либеральныхъ профессій какъ будто бы благороднѣе, а задача дѣловой карьеры—пріобрѣтеніе денегъ. Но если это первая задача, то она не должна быть послѣдней...

О дѣятельностяхъ художественной, научной Карнеджи говоритъ тономъ полуобразованнаго человѣка, мѣряющаго вдобавокъ всякій успѣхъ степенью достигнутаго благополучія. Можно ли быть къ нему особенно строгимъ? Онъ не вѣдаетъ, что говорить...

Но, разумѣется, онъ указываетъ на услуги, какія можно оказать странѣ, умножая ея ресурсы, давая занятія тысячамъ людей, извлекая пользу изъ изобрѣтеній, полезныхъ для развитія человечества. Эти возвышенныя задачи живутъ будто бы у каждаго, посвятившаго себя дѣловой карьерѣ. Господствующею мыслью такого человѣка становится умноженіе своихъ дѣлъ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ суть и благодѣянія для людей. Польза, которую человѣкъ получаетъ отъ этого, „пріятна“ ему не только потому, что доставляетъ доходъ, но

потому, что означаетъ и успѣхъ дѣла "... Вотъ великолѣпный софизмъ, который можно рекомендовать самымъ смѣлымъ изъ нашихъ адвокатовъ-ораторовъ.

Карнеджи распространяется далѣе о поэзіи, какая есть даже въ банковскихъ предпріятіяхъ, „съ ихъ силою и могуществомъ“. Тутъ онъ вступаетъ въ область, въ которую мы не послѣдуемъ за нимъ по отсутствію личной компетенціи. Въ этихъ храмахъ Маммоны намъ простымъ смертнымъ приходится посѣщать чаще всего „отдѣленія залоговъ“, — безотрадные мѣста, едва ли способныя привести кого нибудь въ поэтическое настроеніе!

Если молодой человѣкъ не найдетъ поэзіи въ дѣлахъ, продолжаетъ почтенный американецъ, то это будетъ вина не дѣлъ, а молодого человѣка. Сколько чудесъ и тайнъ открыто новѣйшими изобрѣтеніями хотя бы въ области электричества... Молодой человѣкъ долженъ быть слишкомъ прозаиченъ, чтобы не найти поэзіи въ электричествѣ! Дѣла не только доллары. Доллары—только ихъ оболочка. Плодъ—въ срединѣ и вкусъ его дѣлается понятенъ только потомъ, когда наивысшія качества молодого человѣка, постоянно приводимыя въ дѣйствіе, созрѣютъ и разовьются. Прежніе взгляды на комерцію измѣнились. „Великій“ Крупъ отказался отъ званія князя, которое было ему предложено. Онъ—особа болѣе важная, чѣмъ другіе владѣтельные князья... Да вздравствуетъ „business“ и да вздравствуетъ Крупъ, благодѣтель человѣчества!

Измѣнились старыя предупрежденія противъ коммерціи, такъ какъ измѣнилась и сама коммерція. Въ прежнія времена все дѣлалось въ маленькомъ



масштабѣ, а маленькіе обороты въ маленькихъ дѣлахъ производятъ и маленькихъ людей. Въ наши дни всѣ дѣла поставлены на такую гигантскую ногу, что лицо, стоящее во главѣ предпріятія, какъ бы править маленькимъ государствомъ. Кромѣ сознанія усовершенствованія дѣла, высшею наградою такихъ людей является то, что является возможностью дѣлать добрыя дѣла. „Излишекъ богатства есть священный фондъ, которымъ его обладатель долженъ распорядиться въ теченіе своей жизни, чтобъ принести съ его помощью наиболѣе пользы своимъ ближнимъ“.

Этими словами кончаетъ лучшій изъ американскихъ крезовъ свою апологію дѣловой карьеры. Слабыя стороны его взглядовъ сами собой бросаются въ глаза. Поднятіе общаго уровня благосостоянія—задача, къ какой стремится наше время, а противъ колоссальныхъ сосредоточеній „дѣлъ“ въ немногихъ рукахъ, противъ ужасныхъ трестовъ вопіетъ нынѣ сама дѣловая Америка. Какъ бы ни были почтенны просвѣтительныя дѣйствія хотя бы самого Карнеджи, но государство, гдѣ царитъ наибольшая степень общаго довольства всегда сдѣлаетъ больше всѣхъ отдѣльныхъ частныхъ лицъ и всегда безъ нихъ обойдется. Что касается науки, поэзіи, искусства, то коммерсанты не судьи въ нихъ. Могутъ ли быть судьями милліардеры и въ вопросахъ морали? При чтеніи лекціи Карнеджи меня почему-то все время преслѣдовали слова Шатобріана, благороднаго и нищаго: *la voix de l'infortune c'est la voix de la vérité...*

---

## КНИГОЛЮБЫ И КНИГОКРАДЫ.

---

Любителей книгъ, библіомановъ, считаютъ самыми эгоистичными изъ всѣхъ созданій, наиболѣе ослѣпленными своею страстью. Такое мнѣніе пустили въ ходъ, вѣроятно, тѣ господа, для которыхъ книга является чуть не пугаломъ. Книголюбы ничуть не эгоистичнѣе всѣхъ людей, одержимыхъ какою-либо страстью, съ тою разницей, что ихъ любовь, даже въ своихъ увлеченіяхъ, остается благороднѣе многихъ другихъ страстей.

Психологіи книголюбства, примѣрамъ увлеченій и даже преступленій на этой почвѣ посвятилъ книгу Альбертъ Симъ \*). Самъ библіоманъ, онъ становится на защиту своихъ собратій. Книголюбы дорожатъ своимъ сокровищемъ, боятся съ нимъ разстаться, говоритъ онъ. Обвинять ли ихъ за это? Всѣмъ вѣдь хорошо извѣстно, что книги, взятые „для прочтенія“, возвращаются еще рѣже, чѣмъ занятыя деньги.

Одолжающіеся чужими книгами во всѣ времена были врагами библіотекъ, худшими чѣмъ крысы, мыши и моль, злѣйшими чѣмъ огонь и вода, — ужасъ библіофиловъ.

---

\*) Albert Cim. Amateurs et voleurs de livres Paris 1903. (Collection du bibliophile).

„*Ite ad vendentes!*“ надписалъ одинъ книголюбъ на своихъ книжныхъ шкафахъ: отправляйтесь къ книгопродавцамъ и оставьте мои книги въ покоѣ!

Таковы взгляды и убѣжденія большинства книголюбовъ, взгляды, противъ которыхъ, безъ сомнѣнія, не будетъ возражать ни одинъ благоразумный человекъ. Въ стараніяхъ сохранить дорогихъ своихъ друзей отъ порчи и потери, они должны встрѣчать общія симпатіи. Иное отношеніе начинается къ книголюбамъ, когда, забывши честь и совѣсть, для пріобрѣтенія желаемыхъ сокровищъ, они вступаютъ сами на путь хищенія. А примѣры такихъ хищеній и такихъ похитителей, извѣстны во всѣ времена.

Ни личное развитіе, ни возвышенное направленіе мысли не останавливаютъ одержимыхъ печальной слабостью. „Моралистъ“ Николь былъ извѣстенъ ею. „Онъ не совсѣмъ акуратно возвращалъ владѣльцамъ взятыя у нихъ книги“, говоритъ о немъ Сентъ-Бевъ. Та же черта еще въ большей степени, свойственна была критику и академику Виллемэну. Онъ никогда не возвращалъ взятыя книги и требовалось содѣйствіе его секретаря, чтобы, хитростью и украдкой, вырвать свою книгу изъ нѣдръ его библіотеки. Академикъ болѣе поздняго времени, Луи де-Ломени, слѣдовалъ въ этомъ направленіи по пути своего предшественника. Зачитать книгу считается позволительнымъ, и многіе считаютъ, что это не воровство, если только книга не дѣлается предметомъ торговли.

Но отъ зачитыванья одинъ лишь шагъ къ прямому хищенію. Въ рядахъ похитителей книгъ исто-

рія насчитываетъ лицъ всѣхъ занятій и состояній. Папа Иннокентій X, бывши еще кардиналомъ Памфили, похитилъ у живописца-библіомана Дюмустье „Исторію Трентскаго собора“, во время осмотра его библіотеки. Замѣтивъ хищеніе во время, Демустье отнялъ свою книгу. Нунцій Пассіонеи, ревизуя швейцарскіе монастыри въ XVIII вѣкѣ, произвелъ въ нихъ самую безцеремонную жатву книгъ и рукописей. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ братья отличались особенной бдительностью, Пассіонеи предпринималъ якобы научное изысканіе, требовавшее продолжительныхъ занятій. Для этого онъ просилъ, чтобъ его заперли въ библіотекѣ... изъ оконъ которой онъ выбрасывалъ особенно рѣдкія книги и рукописи своимъ подручнымъ, разставленнымъ въ подходящихъ мѣстахъ.

Изошрившись самъ въ продѣлкахъ этого рода, онъ не допускалъ знатоковъ близко къ составленному имъ драгоцѣнному собранію. Надсмотрщиками къ своимъ книгамъ онъ выбиралъ еле-грамотныхъ тупицъ и, на выраженное по этому поводу удивленіе, отвѣчалъ:

— Библіотека—это мой сераль. А всякій сераль, безъ опасности, могутъ охранять только евнухи.

Невольнымъ похитителемъ книгъ сдѣлался и Дидро, о чемъ, съ свойственнымъ ему прямотушіемъ, разсказалъ потомству самъ. Дидро познакомился какъ-то съ нѣкимъ господиномъ, котораго изъ деликатности называетъ просто „маленькимъ человѣкомъ“. Этотъ человѣкъ оказался страстнымъ поклонникомъ философа, сталъ часто его посѣщать и приносилъ въ подарокъ изящнѣй-



шія и рѣдчайшія книги. Подарки возбудили подозрѣнія и безпокойство философа. „Мнѣ чужалось въ нихъ что-то подозрительное, опасное; принимая ихъ, я смутно чувствовалъ какое-то сообщничество, которое могло меня обезчестить“. Онъ подвергнулъ „Маленькаго человѣка“ допросу и тотъ, улыбаясь и шутя, отвѣтилъ, что „это книги все равно не служили ни къ чему тамъ, гдѣ находились“.

— Но ты укралъ ихъ!

— Слово украсть можно было бы употребить, если бы я взялъ ихъ для себя, или по крайней мѣрѣ, если бы эти книги были нужны ихъ владельцу. Но уже четыре года, какъ этотъ господинъ не входитъ даже въ свою библіотеку, и я подумалъ, что эти научныя сокровища принесутъ больше пользы въ вашихъ рукахъ. Развѣ такое разсужденіе не было справедливымъ и вѣрнымъ.

Дидро принялся доказывать ему, какъ, напротивъ, скверны и низки были его поступки, и сталъ требовать возвращенія обратно книгъ.

— Ваше требованіе, г. Дидро, неисполнимо, — отвѣчалъ человѣкъ. — Эти книги принадлежали аббату Гатьену, канонику Парижскаго Собора Богоматери. Я былъ его секретаремъ и чтецомъ. Каноникъ скончался позавчера и его библіотека опечатана...

Конецъ этой исторіи оригиналенъ. Наслѣдница аббата отказалась взять книги обратно, и Дидро долженъ былъ оставить ихъ у себя. Въмѣстѣ съ ними, онъ взялъ и „маленькаго человѣка“, котораго сдѣлалъ своимъ библіотекаремъ. Этотъ постъ

тотъ и занималъ до самой продажи библіотеки Дидро императрицѣ Екатеринѣ II...

Какъ на примѣръ книголюбія, перешедшаго въ манію, можно указать на неаполитанскаго маркиза Такони, о которомъ рассказываетъ въ своихъ письмахъ изъ Италіи Поль-Луи-Курье. Завѣдуя государственной казной и имѣя сто тысячъ франковъ личнаго дохода, Такони тратилъ такъ много на книжныя собранія, что для увеличенія способовъ къ ихъ пріобрѣтенію, сталъ печатать фальшивыя ассигнаціи. Онъ былъ судимъ и сосланъ въ каторжныя работы. Но судьба Такони еще не крайнее проявленіе приведшаго къ преступленію книголюбія. Исторія знаетъ примѣръ книголюба-маніака, который, во имя любви къ книгамъ, совершилъ нѣсколько убійствъ и кончилъ самъ дни на эшафотѣ, положивши за книги въ буквальномъ смыслѣ голову на плаху.

\*  
\*  
\*

Въ Барселонѣ, подъ колонадами, окаймляющими площадь „De Ios Encantes“, гдѣ сосредоточены лавочки антикваріевъ и букинистовъ, въ началѣ тридцатыхъ годовъ прошлаго вѣка появился новый торговецъ, по имени Винцентій. Это былъ послушникъ незадолго передъ тѣмъ закрытаго монастыря, библіотекой котораго онъ завѣдывалъ. Монастырь былъ не только закрытъ, но и разграбленъ, причемъ пострадала и его библіотека. Злые языки говорили, что при этомъ не мало пользовался Винцентій. Его лавка снабжена была дѣйствительно большимъ количествомъ старинныхъ книгъ и рукописей и привлекла сразу вниманіе покупателей.

Но хозяинъ ея былъ странный торговецъ. Онъ никогда самъ не предлагалъ посѣтителямъ рѣдкихъ и цѣнныхъ книгъ, а если покупатель самъ открывалъ ихъ, или если къ продажѣ вынуждала крайность, Винцентій назначалъ безумныя цѣны и обставлялъ дѣло условіями, дѣлавшими покупку почти невозможною. На сколько онъ былъ уступчивъ, когда дѣло касалось книгъ обыкновенныхъ и новыхъ, настолько былъ тугъ въ торговлѣ рѣдкостями. Когда такую книгу надо было отдавать покупателю, онъ дѣлался самъ не свой, на немъ, какъ говорится, „лица не было“.

Но у него бойко шла торговля новинками, и другіе книжники, завидовавшіе ему, условились не давать ему дѣлать какихъ бы то ни было приобрѣтеній на аукціонахъ, нагоняя цѣны подчасъ даже въ ущербъ собственнымъ интересамъ. Сосѣдь-книгопродавецъ Паксотъ сталъ во главѣ этого ехиднаго заговора.

Въ 1836 году, послѣ смерти одного ученаго адвоката, назначенъ былъ аукціонъ книгъ, въ числѣ которыхъ находилось „Описаніе празднествъ, данныхъ въ честь короля Арагоніи въ 1482 году“. То было первое изданіе книги, напечатанное Ламберомъ Польмаромъ, насадителемъ книгопечатанія въ Испаніи,—единственный извѣстный экземпляръ этого изданія. Начался ожесточенный торгъ. Винцентій довелъ цѣну книги до 1,300 франковъ,—высшей суммы, какою располагалъ. Но Паксотъ далъ нѣсколькими десятками франковъ больше и книга осталась за нимъ.

Не прошло недѣли, какъ въ магазинѣ Паксота,

раннимъ утромъ, возникъ пожаръ. Поданною во время помощью его успѣли остановить, но, среди обожженныхъ книгъ, нашли трупъ несчастнаго торговца, погибшаго во время пожара. О поджогѣ съ цѣлью грабежа нельзя было и думать, такъ какъ выручку нашли въ неприкосновенности, а у ногъ торговца валялось еще изрядное количество монетъ, результатъ послѣдняго дня его торговли.

Почти одновременно у морского берега вытащили трупъ нѣкоего нѣмецкаго студента, а во рву близъ пушечнаго завода найденъ былъ убитымъ священникъ изъ окрестностей города. И въ этихъ убійствахъ не обнаружилось никакихъ признаковъ грабежа, такъ какъ при обѣихъ жертвахъ найдены были и деньги, и драгоценности. Вскорѣ открылось еще девять убійствъ, все лицъ ученыхъ и почтенныхъ: алькадовъ, мировыхъ судей, чиновниковъ городского управленія. Нельзя было объяснить гибель этихъ лицъ ни личною местию, ни политическими мотивами. Все это были скромные, ученые люди, не имѣвшіе враговъ и не вмѣшивавшіеся въ политику. Общественное мнѣніе было встревожено. Заговорили о вновь возникшей тайной инквизиціи. Подозрѣніе направилось на лицъ духовнаго званія и въ числѣ другихъ, какъ у бывшаго монаха, былъ сдѣланъ обыскъ и у Винцентія. Во время обыска, къ великому общему удивленію, найдено было „Описаніе празднествъ“ Польмара, о пріобрѣтеніи котораго за безумную цѣну Паксотомъ говорилъ недавно весь городъ.

Увѣренія Винцентія, что онъ перекупилъ эту книгу у Паксота, не выдерживали критики. Даль-



нѣйшіе розыски въ магазинѣ обнаружили книги и рукописи, проданныя недавно Винцентіемъ многимъ изъ убитыхъ лицъ, что подтверждено было и ихъ родственниками.

Винцентій признался во всемъ, подѣ условіемъ, что его библіотека будетъ сохранена въ неприкосновенности. Признанія свои онъ подтвердилъ и на судѣ, передъ судьями и многочисленной публикой.

По словамъ „Судебной Газеты“ того времени, внѣшность Винцентія ничѣмъ не напоминала злодѣя или убійцу. Его свѣжее лицо дышало здоровьемъ, взглядъ выражалъ простосердечіе и ясность души.

Онъ прямо сказалъ, что цѣнилъ научныя сокровища больше всего на свѣтѣ и что, убивая людей, дѣйствовалъ только для спасенія этихъ драгоценностей. Для себя онъ не просилъ никакой пощады, а повторилъ только мольбу о сохраненіи въ прежнемъ составѣ его книжнаго собранія.

Онъ рассказалъ о крайности, заставлявшей его рѣшиться на продажу рѣдкихъ книгъ; передалъ исторію своей „борьбы“ съ покупателями, о томъ, какъ тѣ не желали брать обратно деньги, когда онъ, мучимый тоской, летѣлъ за ними въ погоню; рассказалъ подробно сопровождавшія убійства обстоятельства. „Люди смертны, говорилъ онъ:—немного позже, все равно, каждый изъ убитыхъ долженъ былъ умереть. А многіе ли заботятся о сохраненіи книгъ, этого украшенія жизни?..“ Сознался онъ и въ убійствѣ Паксота. Ночью въ открытое окно, онъ влѣзъ въ его лавку, задавилъ его ве-

ревкой, взялъ „Описаніе празднествъ“ и еще кое-какія рѣдкости, и поджогъ постель убитаго торговца. Онъ потому только рѣшился предать пламени полки съ книгами, что между ними не было уже ничего особенно рѣдкаго и интереснаго.

Во время преній сторонъ обнаружилось, что существуетъ и другой экземпляръ „Описанія празднествъ“, сохранившійся въ Парижѣ. Съ этого момента процесса, Винцентій, сохранявшій до того времени полное спокойствіе, сталъ неутѣшно плакать. На радость, выраженную предсѣвателемъ суда, что въ немъ проснулось наконецъ человѣческое чувство и заговорила совѣсть, Винцентій поспѣшилъ замѣтить, что горе его глубже и что причина его слезъ—обнаруженіе второго экземпляра рѣдчайшей книги Польмара.

Смертная казнь была исходомъ этого дѣла, которое можно бы считать за фантасію или злую шутку, если бы подробные отчеты не сохранили со всею точностью его память на страницахъ оффиціальной испанской „Судебной Газеты“.

\*   \*  
\*

Послѣ этого чудовищнаго случая, дѣтскими шалостями кажутся производившіяся очень богатымъ парижскимъ книгопродавцемъ на всѣхъ книжныхъ аукціонахъ хищенія, ставшія всѣмъ столь извѣстными, что аукціонисты, при малѣйшемъ подозрѣніи, провозглашали прямо: „такая то книга осталась за NN“ и принуждали такимъ образомъ похитителя къ уплатѣ ея стоимости. Извѣстны также „позаимствованія“ изъ ящиковъ букинистовъ рѣдкихъ брошюръ однимъ изъ бога

тѣйшихъ и знатнѣйшихъ англичанъ. Страсти похитителей не останавливаютъ даже надписи, какія дѣлались на старыхъ хартіяхъ предусмотрительными владѣльцами ихъ или переписчиками, въ родѣ: „Кто присвоитъ эту книгу,—да будетъ анаеема!“ Похитители мирятся съ своей судьбой и не страшатся загробныхъ проклятій. Еще недавно, у насъ въ Россіи нѣкій ученый мужъ вывезъ не мало фоліантовъ съ такими надписями во время „научнаго осмотра“ Волыни и ея старыхъ обителей. Дѣло, къ счастью, дошло до свѣдѣнія археологическаго общества, и кое-что изъ похищеннаго было водворено на прежнія мѣста.

Другой видъ книжныхъ хищниковъ, хищниковъ изъ простой корысти, слишкомъ презрѣнъ, ничѣмъ не отличается отъ простыхъ воровъ и карманниковъ. „Знаменитѣйшимъ“ изъ такихъ воровъ былъ нѣкій итальянецъ Либри, самая фамилія котораго уже носила книжный характеръ. Въ сороковыхъ годахъ онъ жестоко ограбилъ главныя французскія бібліотеки. Войдя въ дружбу съ Гизо и другими извѣстными людьми, онъ разыгрывалъ роль честнаго ученаго, и до послѣдней минуты никто не хотѣлъ вѣрить его преступности. Корыстнымъ грабителемъ былъ также нѣмецъ Пихлеръ, лѣтъ тридцать назадъ тащившій ворохами книги изъ нашей Публичной Библіотеки.

Нѣтъ ничего общаго между всѣми этими уродами и честными поклонниками и собирателями книгъ и эти патологическія картины не должны заслонять благороднаго зрѣлища служенія книголюбовъ своимъ кумирамъ. Далекіе лично отъ чего

бы то ни было подобнаго и осуждая хищеніе книгъ, какъ всякую простую кражу, книголюбы можетъ быть были бы чуточку снисходительнѣе къ виновнымъ, если бы имъ пришлось быть ихъ судьями. Но взглядъ ихъ, разумѣется, мгновенно бы измѣнился и сдѣлался бы безпощадно суровымъ, если бы хищеніе коснулось принадлежащихъ имъ лично книгъ и если бы жертвами его стали ихъ собственныя бібліотеки.

---



# МАЛОРОССІЯ.

## ЗАПИСКИ ФИЛИППА ОРЛИКА.

Свирѣпый Орликъ передъ нимъ...  
*Пушкинъ.*

---

Г. Равита-Гавронскій, принадлежитъ къ польско-украинской школѣ ученыхъ и посвящаетъ свои изслѣдованія мѣстамъ и людямъ нынѣшняго, такъ называемаго, Юго-Западнаго края. Онъ пробовалъ свои силы и въ исторической беллетристикѣ. Новый томъ его „Историческихъ очерковъ и этюдовъ“ посвященъ совмѣстно лицамъ и дѣламъ исторіи польской и южной-русской. \*)

Вниманіе наше въ этой книгѣ обращаетъ сообщеніе объ историческомъ памятникѣ, самое существованіе котораго считалось доселѣ сомнительнымъ и котораго не разрабатывалъ еще никто. Памятникъ этотъ—записки Филиппа Орлика, бывшаго генеральнаго писаря при Мазепѣ, принимавшаго участіе во всей мазепинской исторіи, эмигрировавшаго за границу послѣ неудачи дѣла Мазепы и Карла XII, пережившаго всѣхъ другихъ участниковъ этого дѣла и много лѣтъ интриговавшаго съ цѣлью возбудить вновь это проигранное дѣло и склонить на свою сторону успѣхъ.

---

\*) Fr. Rawita-Gawronski. Studià i Szkice historyczne. Lwów. 1900.

Значительное число документовъ, относящихся къ заграничной дѣятельности Орлика, хранится въ шведскомъ государственномъ архивѣ. Въ Краковѣ, въ библіотекѣ Чарторыйскихъ, оказывается теперь рукописный его дневникъ, съ которымъ ознакомился г. Равита и который излагаетъ въ своей статьѣ.

На онованіи ее отмѣтимъ то новое, что добылъ онъ изъ замѣтокъ неугомоннаго Орлика, котораго Пушкинъ ославилъ въ поэмѣ своей „свирѣлымъ“.

Хранящаяся въ Краковѣ рукопись его дневника принадлежала въ началѣ этого вѣка Станиславу Замойскому, отъ него перешла въ Пулавскую библіотеку, а оттуда въ архивъ Чарторыйскихъ. Это огромный томъ въ осьмушку, писанный разными почерками, очевидно переписанный съ черновыхъ замѣтокъ. Въ рукописи 800 страницъ текста на трехъ языкахъ: латинскомъ, польскомъ и французскомъ. Въ концѣ 1722 года есть пропускъ, оговоренный словами: „конца этого тома недостаетъ“. На послѣдней страницѣ рукописи есть пометка о совершенной готовности ея къ печати, изъ чего видно, что существовало намѣреніе обнародовать этотъ памятникъ. Но намѣреніе это не осуществилось и „Дневникъ“ долгіе годы пребывалъ въ забвеніи.

Замѣтки „Дневника“ дають прежде всего свѣдѣнія о малоизвѣстной доселѣ личности самого Орлика. Родъ его происходилъ изъ Чехіи или, вѣрнѣе, изъ Силезіи, откуда одинъ изъ его предковъ во время гусистскихъ войнъ переселился въ Польшу. Фамилія Орлика была знатна, и еще

въ XVIII вѣкѣ нѣкоторые представители ея носили баронскій титулъ. Неизвѣстно, какими судьбами родъ этотъ переселился въ Литву. Здѣсь, въ Опшмянскомъ повѣтѣ, въ 1672 году родился Филиппъ Орликъ. Къ удивленію г. Равиты, онъ крещенъ былъ въ православномъ обрядѣ. Высшее образованіе кончилъ онъ въ Кіевской Могилянской академіи, подъ руководствомъ Стефана Яворскаго, впослѣдствіи блюстителя патріаршаго престола. По окончаніи академіи Орликъ не вернулся на родину, а примкнулъ къ войсковой старшинѣ. Выдѣлился онъ еще панегирикомъ, сочиненнымъ въ 1698 году на бракъ племянника Мазепы, Обидовскаго, съ дочерью Василя Кочубея Анной. Женившись на дочери полтавскаго полковника Герцика въ 1699 г., Орликъ находился уже въ Батуринѣ при Мазепѣ, при которомъ оставался ближайшимъ человекомъ, неотлучно повышаясь въ должностяхъ до самаго 1709 года, т. е. Полтавской битвы и бѣгства за границу.

Послѣ смерти Мазепы, Орликъ небольшою группою казаковъ-эмигрантовъ избирается гетманомъ въ Варницѣ въ 1710 году. Пребыванія Карла XII въ турецкихъ предѣлахъ, въ Бендерахъ, было поводомъ войны Россіи съ Турціей, кончившейся въ 1711 году Прутскимъ миромъ. Въ войнѣ этой на сторонѣ Турціи принималъ участіе и Орликъ. Русскимъ войскомъ въ этой компаніи разрушена была Запорожская Сѣчь на Каменкѣ. По окончаніи войны запорожцы заложили новую Сѣчь близъ Алешекъ, существовавшую до 1733 года. Въ постоянныхъ сношеніяхъ съ этою Сѣчью былъ Карлъ XII, жив-

шій въ Бендерахъ, и прежде всего, конечно, Орликъ. Въ качествѣ „гетмана“, онъ заключилъ съ ней даже договоръ, въ пункты котораго входило: защита на Украинѣ православной вѣры, запрещеніе селиться евреямъ, нареченіе кievскаго митрополита экзархомъ чрезъ патріарха константинопольскаго, сохраненіе старинныхъ вольностей и пр. Договоръ остался, разумѣется, фиктивнымъ.

Когда Карлъ принужденъ былъ оставить Турцію, Орликъ съ женою и дѣтьми переѣзжаетъ также въ Швецію и поселяется въ Стокгольмѣ, гдѣ и остается не только до смерти Карла XII, но и все время царствованія Ульрики-Элеоноры и Фридриха I. Стремленіе къ активной дѣятельности и къ соотчицамъ и бесполезность дальнѣйшей жизни въ Швеціи заставляютъ его оставить Стокгольмъ. Тревожная дѣятельность, начавшаяся вслѣдъ затѣмъ, не привела ни къ какимъ результатамъ, но причиняла не мало беспокойствъ, такъ какъ въ усиліяхъ своихъ Орликъ искалъ союзниковъ въ лицѣ всѣхъ тогдашнихъ противниковъ Россіи.

Выѣхавъ изъ Швеціи въ 1720 году Орликъ, подъ шведскимъ протекторатомъ, отправляется на югъ, чтобы быть ближе къ границамъ Польши и Турціи и лучше столкнуться съ запорожцами на случай готовящейся и близкой войны съ Россіей.

Семью свою Орликъ отправилъ раньше, а самъ съ товарищами пути взялъ сына Григорія и частнаго секретаря, француза Де-Клуара. Описаніемъ множества дорожныхъ препятствій и помѣхъ наполнены первыя страницы „Дневника“.



Слѣдуетъ затѣмъ кочевка изъ города въ городъ, переговоры, письма къ европейскимъ правителямъ и главамъ державъ. Дѣятельнымъ помощникомъ его является тутъ Нахимовскій, товарищъ по эмиграціи. Порученія исполняетъ также и Де-Клуаръ. Въ Вроцлавлѣ Орликъ едва спасается отъ преслѣдованія русскаго уполномоченнаго Ягужинскаго, употреблявшаго всѣ усилія, чтобы арестовать его. Въ пути постигло его горе: умеръ одинъ изъ сыновей его, Яковъ. Старшаго сына Григорія, зачисленнаго въ саксонскую гвардію, старался арестовать въ Дрезденѣ Долгорукій. Преслѣдовала Орлика и нужда, такъ какъ личныя средства давно изсякли. Нахимовскій, ѣздившій въ Сѣчь, привезъ письма отъ запорожцевъ и хана со всевозможными обѣщаніями, но многія обстоятельства заставляли относиться къ нимъ подозрительно осторожнаго Орлика.

Все же онъ двинулся на югъ. Турецкія власти приняли его сперва недружелюбно. Въ рѣчи своей Орликъ объяснилъ одному изъ пашей свое положеніе, изложилъ свои отношенія къ королю шведскому, къ крымскому хану и къ султану, помощь и покровительство котораго, при управленіи имъ запорожскимъ войскомъ, была ему обѣщана. Онъ посылаетъ отсюда запорожцамъ извѣстіе о своемъ прибытіи. Хотинскій паша до увѣдомленія изъ Стамбула, какъ поступить съ Орликомъ, такъ зорко слѣдитъ за нимъ, что даже сношенія его съ запорожцами должны происходить тайно. Наконецъ возвращается гонецъ изъ Константинополя съ повелѣніемъ Орлику явиться туда лично. По дорогѣ

въ Константинополь его покидаетъ авантюристъ Де-Клуаръ, отправившійся на службу въ Англію.

Опасаясь московскаго правительства, Порта все отсрочивала позволеніе Орлику явиться въ Стамбуль, и онъ застрялъ на дорогѣ, въ Θεσσαλονικαхъ, на цѣлый годъ. Въ 1724 году начались слухи о войнѣ съ Россіей, которой такъ давно ждалъ Орликъ. Въ это время разгорается чума, принесшая скитальцу множества горя: свиданіе съ султаномъ опять было отсроченно. Въ эту минуту Орликъ сближается съ Станиславомъ Лещинскимъ, королемъ безъ королевства, какъ самъ онъ былъ гетманомъ безъ гетманства. Лещинскій сталъ помогать ему совѣтами и связями при европейскихъ дворахъ. Переписка между ними, любопытная фактами, въ ней заключающимися, осталась единственнымъ имѣющимъ значеніе послѣдствіемъ союза этихъ двухъ лицъ.

Орликъ пытается вступить въ переговоры и съ русскими властями, но эти попытки были тщетны. Между тѣмъ положеніе семьи его становилось почти отчаяннымъ. Самъ онъ все яснѣе и яснѣе видѣлъ безнадежность своего дѣла и страшное разочарованіе овладѣло имъ.

Лещинскій все поддерживалъ его обѣщаніями помощи французскаго двора и предстательства за него передъ султаномъ. Орликъ посылаетъ французскому посланнику при Оттоманской портѣ, Де-Вилленеву, обширный меморандумъ о дѣлахъ Украины, прося его содѣйствія и помощи. Эмисаромъ въ Запорожскую Сѣчь онъ посылаетъ какого-то епископа, имени котораго изъ осторожности не

сообщаетъ въ Дневникѣ. Эмисаръ возвращается въ 1730 году съ нерадостными вѣстями. Въ Сѣчи шелъ сильный разладъ, часть ея склонялась къ Россіи и на успѣхъ дѣла надѣяться было нельзя.

Лещинскій продолжалъ быть совѣтникомъ Орлика, а сына его, Григорія, вызвалъ въ Парижъ и опредѣлилъ на французскую службу, подъ именемъ капитана Хага. Григорій въ 1731 году ѣдетъ съ инструкціями отца въ Турцію все съ тою же цѣлью добиться помощи въ предполагаемыхъ дѣйствіяхъ на Украинѣ. Въ Стамбулѣ Григорій Орликъ представилъ записку французскому послу и добился аудіенціи у визиря. Порты отвѣчала уклончиво, совѣтовала Орлику поселиться въ Бухарестѣ, ближе къ Сѣчи, и дѣйствовать на свой страхъ. Отвѣтъ Порты возмутилъ стараго Орлика. Онъ рѣшается послать сыновей, Григорія и Михаила, вручивъ имъ знаки гетманской власти, въ Польшу, съ тѣмъ, чтобы они проникли потомъ въ Украину, ища сторонниковъ и поддержки. Но въ это время въ Константинополѣ вспыхнула революція и послѣдовала замѣна султана Ахмета новымъ правителемъ. Григорій, изъ осторожности, не поѣхалъ въ Польшу, а вернулся во Францію. Въ Парижѣ онъ совѣщается съ министрами, получаетъ новыя инструкціи и отправляется въ путь обратно, снабженный средствами, съ цѣлью дѣйствовать какъ въ пользу отца, такъ и къ восстановленію на тронѣ Лещинскаго.

Разочарованнаго старика Орлика вовсе не прельщала миссія, данная его сыну. Онъ доказывалъ ему, что Лещинскій заботится лишь о себѣ, а не

о нихъ и, въ доказательство того, какъ мало можно довѣряться людямъ политики, припоминалъ вѣроломство короля шведскаго. Поѣздка сына въ Польшу казалась ему бесполезной въ особенности потому, что до него дошли слухи о начатыхъ запорожскими казаками переговорахъ съ Россіей съ цѣлью вернуться на свои прежнія мѣста, и что всякую затѣю въ подобную минуту онъ считалъ праздною.

Лучъ надежды блеснулъ еще для Орлика въ 1733 году, когда Турція, замышляя войну съ нѣмцами, предполагала послать его къ запорожцамъ, чтобы отвлекать силы союзниковъ нѣмцевъ, русскихъ. Въ это время Григорій Орликъ ѣдетъ въ Крымъ, къ хану, съ цѣлью сближенія съ нимъ и заключенія союза съ татарами, яко бы отъ лица казаковъ. Ханъ горько жалуется ему на Порту, которая не хочетъ понять, что казаки ея естественные союзники. На обратномъ пути въ Константинополь, Григорій Орликъ, выросшій за границей, въ первый разъ встрѣтился лично съ казаками и ихъ старшинами и увидѣлъ самъ, какъ мало можно было ему и отцу возлагать на нихъ надежды. На этомъ и прерывается дневникъ Орлика и можно смѣло утверждать, что минута эта была также и концомъ его мечтаній. Его замыслы рушились съ явною для него самою очевидностью.

Таково, переданное въ самомъ сжатомъ видѣ, содержаніе записокъ Орлика, на основаніи обстоятельнаго пересказа ихъ, сдѣланнаго г. Равитой. Желательно видѣть появленіе самаго памятника въ печати. Знакомство съ его текстомъ лучше всего познакомитъ съ безпокойною личностью Ор-



лика, чертами того времени, писательскими приемами очень образованного его автора. Одно замѣчаніе напрашивается однако невольно. Въ запискахъ Орлика мы видимъ политическаго авантюриста, но все же личность, не имѣющую ничего общаго съ кровавымъ звѣремъ, какимъ изображенъ онъ въ „Полтавѣ“ Пушкинымъ и какимъ, на этомъ основаніи, представляетъ его себѣ большинство. Дѣло въ томъ, что поэму свою великій поэтъ писалъ тогда, когда источники малороссійской исторіи были едва тронуты. Въ статьѣ моей объ авторѣ „Исторіи Русовъ“, приписывавшейся Григорію Конискому, а на самомъ дѣлѣ принадлежащей Григорію и Василию Полетикамъ \*), я отмѣтилъ историческіе промахи великаго поэта въ „Полтавѣ“. Въ обширномъ разборѣ этой статьи, напечатанномъ въ „Журн. Минист. Народнаго Просвѣщ.“, \*\*) Л. Н. Майковъ разъяснилъ, что свѣдѣнія по исторіи Малороссіи сообщены были Пушкину М. А. Максимовичемъ, который тогда самъ только начиналъ заниматься ея изученіемъ. Подлинныя архивныя документы удостовѣряютъ, что Орликъ, будучи генеральнымъ писаремъ, т.-е. какъ бы уполномоченнымъ по иностраннымъ сношеніямъ, не принималъ участія въ слѣдствіи по дѣлу Кочубея и ни допросовъ, ни пытокъ, конечно, не производилъ. Мазепа предоставилъ разборъ дѣла русской власти и допросы и пытки, протоколы которыхъ сохранились, производились въ Витебскѣ

---

\*) Въ книгѣ „Южно-русскіе очерки и портреты“.

\*\*) 1893 г., № 5.

(а не въ Бѣлой Церкви) Шафировымъ и Головкинымъ. Ослѣпленіе и мечтальность — достаточные грѣхи Орлика и свидѣтелями ихъ являются признанія его подлиннаго дневника. Обвиненіе же его въ мучительствѣ есть клевета и недоразумѣніе, незаслуженно доселѣ тяготѣющіе на немъ.

---

## И. П. КОТЛЯРЕВСКИЙ.

---

(Къ открытію памятника его въ Полтавѣ).

Скромный чиновникъ давнихъ временъ, старо-свѣтскій полтавскій обыватель сталъ любимцемъ нѣсколькихъ поколѣній. Нѣсколькимъ поколѣніямъ доставилъ онъ минуты веселья. А въ грустной нашей долѣ веселье есть счастье, и тотъ, кто веселитъ людей честнымъ смѣхомъ, кто доставляетъ минуты забвенія удрученнымъ жизнію, достоинъ благословеній. Но Котляревскій сдѣлалъ больше. Народный языкъ одного изъ племенъ славянства онъ возвелъ въ языкъ литературы. И было это не только лексическимъ подвигомъ. Въ немногочисленныхъ,—двухъ собственно,—своихъ произведеніяхъ онъ запечатлѣлъ складъ ума своего племени: юморъ, смѣшанный съ грустью, тонкую наблюдательность, въ искусствѣ—поэтическій реализмъ. Сложенъ и таинственъ процессъ образованія художественныхъ дарованій. Но въ немъ несомнѣнно преемственность. Безъ Котляревскаго быть можетъ, не было бы Квитки, Шевченки, не было бы Гоголя...

Рѣшительно все равно, раньше или позже Осипова написана малороссійская „Энеида“. Книга

Осипова вышла раньше Котляревскаго. Но рукопись Котляревскаго обращалась раньше книги Осипова. Еще раньше вышли пародіи Блумауэра, Скарона. Дѣло тутъ совсѣмъ не въ Виргиліевой поэмѣ. Можно лишь пожалѣть, что Котляревскій до известной степени стѣснилъ свой замѣчательный талантъ неблагодарной задачей пародиста. Поэма его тѣмъ интереснѣе, чѣмъ больше удаляется отъ своего прототипа. Ея значеніе—въ обрисовкѣ малороссійскаго характера, хоть не во всѣхъ, а въ нѣкоторыхъ его проявленіяхъ: казацкой удали, дарѣ смѣха, наблюдательности. Классическія имена здѣсь только едва надѣтыя маски. Самое важное, самое значительное,—черты современной писателю жизни. Онъ отмѣчаетъ ихъ со строгостью реалиста. Отбросивши фабулу, которая едва сшиваетъ изображаемыя яркія сцены, можно извлечь изъ этой шутки-пародіи цѣлую картину жизни Малороссіи, современной поэту.

„Наталка-Полтавка“—наивна, несложна по сюжету. Бракъ по расчету, разрушаемый возвращеніемъ возлюбленнаго. Но шесть лицъ пьесы—шесть народныхъ типовъ, изъ самыхъ коренныхъ и численныхъ. Поэтическая, вѣрная въ любви, Наталка—это дѣвушка народныхъ пѣсенъ, такъ же какъ и горюнья-вдова, ея мать, притерпѣвшаяся къ слезамъ и къ бѣдности. Внѣшне-грубый, лѣнивый, пьяноватый, н тонкій юмористъ-наблюдатель. Выборный,—классическій типъ пожилого малоросса-простолудина. Возный—приказная строка, типъ крючка, увѣ весьма среди хохловъ распространенный. Объ этомъ типѣ могутъ рассказать прежнія и нынѣшнія



канцеляріи русскихъ столицъ и губерній, начиная съ Екатерины II, а въ духовномъ вѣдомствѣ съ Петра I. Микола—забудыга съ честною душой, дитя Запорожья. Даже „любовникъ“, Петро, лицо наиболѣе блѣдное, не особенно удаляется отъ народно-пѣсеннаго типа. А художественная сжатость пьесы, чутье сцены, неслыханная для того времени простота и естественность! Нельзя забывать, что „Наталка“ написана въ 1819 году. Сравните ее съ перломъ сценическаго реализма того времени, съ „Мельникомъ“ Аблесимова... Не мертворожденными были сочиненія полтавскаго обывателя. Пьеса его игралась безсчетно. Котляревскаго одинаково читалъ и Югъ и Сѣверъ, и изданіямъ „Энеиды“ и „Наталки“ и счетъ потерянъ.

Жизнь Котляревскаго несложна событіями. Родился въ Полтавѣ въ 1769 году, учился вмѣстѣ съ Гнѣдичемъ въ мѣстной семинаріи. Былъ сперва домашнимъ учителемъ, потомъ мелкимъ чиновникомъ; офицеромъ въ первую турецкую войну, опять чиновникомъ, смотрителемъ пансіона для дворянскихъ дѣтей и мѣстныхъ „богоугодныхъ заведеній“ За исключеніемъ недолгаго пребыванія въ Петербургѣ, гдѣ въ молодости и въ бѣдности искалъ службы, да военной стоянки въ Турціи, не покидалъ Полтавы, философски глядя все на тотъ же безграничный просторъ долины Ворсклы, что открывался съ балкона его домика, на тотъ же губернскій людъ,—полагая, что не особенно стоитъ себя тревожить передвиженіями, что люди—вездѣ люди и одинакова всюду ихъ сущность. Несмотря на веселость и шутливость, былъ глу-

боко религіозенъ, думая, что религія не убиваетъ яснаго веселья и не требуетъ мрачнаго изувѣрства. Былъ любимъ и уважаемъ согражданами, Зналъ и любилъ простой народъ. По свидѣтельству современниковъ,—и кто усомнится въ немъ?—былъ безпримѣрнымъ анекдотистомъ и рассказчикомъ. Эта жизнь дала ему миръ и спокойствіе. Но, несомнѣнно, она не дала ему расправить вполнѣ свои крылья. Талантъ Котляревскаго былъ шире и могучѣе того, что онъ произвелъ. Запасъ наблюденій былъ у него громаденъ, знаніе народной жизни—полное. Но для кого и для чего было умножать литературную производительность въ городѣ, гдѣ не было печатнаго станка, среди обыденныхъ, мелкихъ интересовъ, скромнаго довольства, добродушной и лѣнливой простоты, въ городѣ-деревнѣ, Полтавѣ? „Энеиду“ онъ началъ писать еще въ семинаріи, а кончилъ лишь въ тридцатыхъ годахъ. „Наталка“ и „Москаль-Чаривныкъ“ написаны въ одинъ годъ, къ случаю, для спектаклей труппы, приглашенной въ Полтаву княземъ Репнинымъ. Это была кочующая группа Штейна, въ ней игралъ юный Щепкинъ. Онъ создалъ роль Выборнаго. Имя первой Наталки осталось неизвѣстнымъ. Въ своихъ запискахъ Щепкинъ отзывается объ одномъ изъ тогдашнихъ своихъ товарищей, Угаровѣ, какъ объ актерѣ, у котораго онъ „не достоинъ развязать ремень у сапога“. Увлечение ли это великодушной души, какою былъ Щепкинъ, или въ лицѣ Угарова, вскорѣ умершаго, дѣйствительно погибъ великій талантъ, — сказать теперь нельзя. Въ первомъ представленіи „Наталки“ онъ участвовалъ также.

Смѣнявшіеся полтавскіе генераль-губернаторы того времени, просвѣщенные князья Лобановъ-Ростовскій, Куракинъ, Репнинъ,—умѣвшіе распознать въ скромномъ чиновникѣ крупную духовную силу, всѣ вели дружбу съ Котляревскимъ. Сквернаго слова „сепаратизмъ“ тогда не существовало еще, какъ не существовало многихъ взглядовъ и пріемовъ, явившихся „плодами просвѣщенія“ вполсѣдствіи. Любитель литературы, тогда еще великій князь, вполсѣдствіи императоръ, Николай I, посѣтивъ Полтаву въ 1816 году, осыпалъ Котляревскаго знаками вниманія и пожелалъ имѣть у себя два экземпляра „Энеиды“ \*).

Надо ли характеризовать нравственные взгляды Котляревскаго, его міросозерцаніе? Взгляды, эти не сложны, міросозерцаніе ясно. Страстный поклонникъ Евангелія, онъ изучалъ его и старался слѣдовать ему. А сложно ли чистое ученіе Евангелія? Ключъ къ частностямъ воззрѣній Котляревскаго, съ отрицательной стороны, даетъ его блестящее по остроумію описаніе ада, въ третьей части „Энеиды“. Тамъ, пріемами въ строго—козацкомъ стилѣ, казнить онъ пороки и недостатки своего времени и общества. Компанія выведена не малая:

Тамъ вси невірны й хрыстыяне  
Булы,—паны и мужики,  
Була тамъ шляхта и мищане,  
И молоди и старики;  
Булы богаты и убоги,  
Прямы булы и кривоноги,

---

\*) „Украинскій Вѣстникъ“ 1816 г., № 7.

Булы видюци и слипы,  
 Булы и штацьки и военны,  
 Булы и паньски и казенни,  
 Булы мыряне и попы...

Неправедные судьи, ростовщики и стяжатели, ханжи-лицемѣры, блудники и блудницы, изображенные не въ общихъ, расплывчатыхъ чертахъ, а въ образѣ и краскахъ своего времени, несутъ достойное воздаяніе. Не забыть и литературный воръ, нѣкій Порпура, напечатавшій въ 1798 году эту самую „Энеиду“ безъ вѣдома автора. Его поджариваютъ на вертелѣ, какъ шашлыкъ, растягиваютъ ему суставы и льютъ за кожу раскаленную мѣдь. Этой строфой ограничилась вся месть незлобиваго автора, произведеніе котораго непрошенный издатель выпустилъ въ искаженномъ видѣ. Но особенно замѣчательна одна строфа этого сатирическаго ада, въ которой бичуется—въ 1798 году!—крѣпостное право, утвержденное незадолго передъ тѣмъ въ Малороссіи, и тираны-помѣщики, уже появившіеся:

Панивъ за те тамъ мордувалы  
 И жарылы зо всехъ бокивъ  
 Що людямъ льготы не давалы,  
 И ставылы ихъ за скотивъ.  
 За те воны дрова возылы,  
 Въ болотахъ очереть косылы,  
 Носылы въ пекло на пидпаль.  
 Чорты за нымы прыглядалы,  
 Зализнымъ пруттямъ пидганялы.  
 Колы якій изъ ныхъ прыстававъ..

Сатирическая форма и языкъ предохранили автора этихъ „выходокъ“ отъ участи Радищева.



Теперь эти выходки заставляют насъ еще разъ склонить голову передъ свѣтлымъ образомъ Котляревскаго. Какъ ясно судить о жизненной правдѣ и неправдѣ сердце, исполненное добра! И хранится въ памяти потомковъ оживленное талантомъ правдивое слово...

---

## ЗАВѢТЫ ДЕРЕВНИ.

---

Высокаго интереса полны произведенія народнаго творчества: преданія, пѣсни, сказки, рассказы, гдѣ выражаются представленія, понятія чувства и взгляды сельской, чуждой „культуры“ и даже грамотности массы. Эти самородки—созданія умовъ творческихъ и сильныхъ, лишенныхъ лишь „обработки“. Великой признательности заслуживаютъ собиратели народныхъ произведеній, записывающіе ихъ изъ устъ народа. Кто самъ занимался этимъ, тотъ знаетъ, какъ практически нелегко это повидимому нехитрое дѣло. „Этнографическіе матерьялы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ“—одинъ изъ послѣднихъ, солидныхъ сборниковъ этого рода посвященныхъ Малороссіи. Разсмотримъ одну изъ книгъ этого трехтомнаго собранія.

Въ этой книгѣ—старые завѣты деревни, творчество созданное стариннымъ типомъ деревенской жизни. Здѣсь—ея обычаи, воззрѣнія, ея этика и эстетика, ея духъ и жизнь. Эту устную словесность создаетъ только неграмотная масса. Образование кладетъ конецъ собирательному творчеству, наступаетъ творчество личное. Но то что сохрани-

лось въ народной памяти, какъ достойное сохраниться—почти всегда интересно и значительно. Оно прошло сквозь оцѣнку тысячъ умовъ и оцѣнку эту выдержало, удовлетворивъ ихъ. Оно сочинено было искренне и наивно, съ однимъ лишь желаніемъ, передать ярче образъ, или чувство и безъ всякилъ „литературныхъображеній. Потому оно, хоть и неумѣло“, но свѣжо и сильно.

Раскрывъ книгу, сразу натыкаешься на образчикъ стариннаго деревенскаго простодушія. Вотъ— „способъ сдѣлаться богатымъ или счастливымъ“. Вы ждете практическихъ совѣтовъ, умудренныхъ опытомъ истинъ? Ничего подобнаго. „Надо встрѣтить змѣю съ золотыми рогами и заставить ее эти рога оставить на протянутомъ поясѣ“. О святая простота! Сколько разъ обстригутъ тебя теперь, пока ты будешь ждать змѣи съ золотыми рогами!..

Свое село, семья, поле, хозяйственныя работы—вотъ міръ прежней малороссійской деревни, которой почти не касалось ничто извнѣ, съ тѣхъ поръ, какъ кончился періодъ войнъ и броженія и села осѣлись закрѣпощенными и раскрѣпощенными вполслѣдствіи группами.

Земля—источникъ благополучія, кормилица. Личный трудъ—единственный способъ существованія. Съ какимъ почтеніемъ относится селянинъ къ добытому трудомъ, святому хлѣбу! Въ торжественный часъ посѣва, послѣ молитвы, осѣняя поле широкимъ взмахомъ сѣющей руки, онъ исполняется какимъ-то умиленіемъ и произноситъ: „Уроди Боже, на трудящаго, на ледащаго, на крадящаго и на всякую долю“, прося объ урожаѣ,

хотя-бы имъ пользовались даже и злые люди (Сборн. стр. 16).

Рабочій скотъ, домашнія животныя—помощники въ жизни крестьянина и обходиться съ ними надо бережно, ласково. Напримѣръ, корова, столь полезная въ домашнемъ хозяйствѣ. „Съ ней надо обходиться вѣжливо, ласково и почтительно. На Пасху съ ней христосуются, даютъ святости, твердое вымя мажутъ четверговымъ яичкомъ, подкуриваютъ смирной и пр. Бросая доить корову, даютъ ей хлѣба—соли, „отходного“, какъ работнику при расчетѣ (стр. 8).

Но одинъ честный трудъ, какъ ни почтененъ онъ и святъ, даетъ только возможность жить. Никогда не достигнешь имъ богатства: „не отдавши чертямъ душу, богатымъ не будешь“ (стр. 38). Мораль сказки этого названія та, что никакія личныя усилія, никакой трудъ не обогатятъ человѣка, пока онъ не вошелъ въ сдѣлку съ чертями, т. е. не пренебрегъ своею совѣстью и не призналъ всѣ пути хорошими для достиженія цѣли.

Не мало было всегда „грошолобовъ“ въ народной средѣ, и въ ужасающей степени размножились они теперь. Но, по старому народному повѣрью, судьба ихъ печальна. Одинъ изъ нихъ, по совѣту чертей, глоталъ деньги, чтобъ не передать ихъ послѣ себя никому. По смерти его, черти деньги эти вытрусили и отдали первому встрѣчному. (стр. 43).

Эти, такъ часто фигурирующіе въ малороссійскихъ народныхъ повѣрьяхъ, черти являются только „символомъ“ злого начала и совсѣмъ утрачиваютъ



свой библейскій образъ. Очень часто изображаются они въ комическомъ видѣ „куцыхъ“, на которыхъ сыпятся и невзгоды и удары. Деревенскому скрипачу захотѣлось сдѣлаться лучшимъ скрипачемъ на свѣтѣ. Чортъ подслушалъ его желеніе и предложилъ дать ему искусство взамѣнъ души, которую скрипачъ долженъ отдать ему „черезъ годъ“.

Когда чортъ вздумалъ требовать душу по истеченію срока, скрипачъ ударилъ скрипкой о дерево и отдалъ чорту „душу скрипки“. „Почухавъ нечистый потылицю, скрывывся, тай пострыбавъ, пыдобгавшы хвистъ пидъ греблю“ (стр. 41).

Труднѣе чѣмъ дьявольское навожденіе,—искупить свои собственные проступки. Въ разсказѣ „Грихы“ (стр. 63) предъ нами преступникъ, тяжкій, хоть и невольный,—малороссійскій Эдипъ, случайно убившій отца и женившійся на матери. Не помогаютъ ему ни тяжелые искусы, ни сорокалѣтнее покаяніе, пока, наконецъ, не услышана его молитва и, „со дна моря“, не является чудесно ключъ, чтобъ освободить его изъ добровольнаго заточенія.

Гораздо чаще чѣмъ формальные представители злого начала, черти, являются въ старинныхъ народныхъ повѣрьяхъ доморощенные злочинцы, вѣдьмаки и въ особенности вѣдьмы.

Разсказы о нихъ многочисленны и сохраняются упорно, долго. Одно изъ типичныхъ повѣствованій этого рода озаглавлено въ нашемъ сборникѣ „Пантелеймонъ“. Парубокъ случайно убилъ вѣдьмину дочку. Вѣдьма стала мстить ему, хотѣла сгубить, зажечь хлѣвъъ, гдѣ онъ читалъ священныя книги,

спасаясь отъ нечистой силы. На третью ночь, когда на помощь сельскимъ вѣдьмамъ явилась зловѣщая „кіевська“, гибель парубка казалась неизбѣжною. Святые ангелы исполнились жалости къ нему и стали приказывать пѣтуху пѣть. Но, вѣрный долгу, пѣтухъ отказался пѣть до наступленія разсвѣта. Ангелы полетѣли къ Богу, умолая его уменьшить ночи хоть „на маковое зерно“. Просьба ихъ была исполнена, пѣтухъ запѣлъ и нечистая сила разсѣялась. (стр. 67).

Однородный рассказъ, „Про Спырыдона“, еще ближе чѣмъ первый приближается къ фавулѣ гоголевскаго „Вія“. Въ этомъ рассказѣ, убившій вѣдьму парень посаженъ въ пустую хату и здѣсь, а не въ церкви, нападаютъ на него вѣдьмы. Вытерпѣвъ муку ихъ преслѣдованія, парень, также какъ у Гоголя, въ концѣ концовъ все таки умираетъ. Въ Полтавской губерніи нами записанъ еще одинъ варіантъ этой сказки. Въ немъ, одержимая нечистой силой дѣвушка—дочь царя. Парубокъ отчитываетъ ее три ночи въ церкви, втеченіе которыхъ являются къ нему вѣдьмы и выходитъ изъ гроба и сама покойница. Въ послѣднюю ночь ему удается накинуть ей на шею крестъ и крикъ пѣтуха раздается, пока она не успѣла еще лечь въ гробъ. Она остается живою и дѣлается женою парубка.

Наконецъ, въ этомъ же сборникѣ, въ приложеніяхъ, есть еще одинъ рассказъ на ту же тему (стр. 284). Въ немъ парубокъ летаетъ на вѣдьмѣ, убиваетъ ее, отчитываетъ три ночи и спасается, ущипнувъ пѣтуха и заставивъ его крикнуть раньше

разсвѣта. Всѣ эти варианты, какъ и напечатанные раньше въ другихъ сборникахъ, представляютъ намъ подлинныя источники „Вія“, заимствованнаго изъ одного изъ самыхъ распространенныхъ народныхъ разсказовъ, изъ котораго великое искусство Гоголя сдѣлало такую живую и поразительную картину.

Какъ бы нарочно, рядомъ съ разсмотрѣнными разсказами, въ книгѣ стоитъ преданіе „Янголь“, представляющее большое сходство съ произведеніемъ другого знаменитаго писателя, разсказомъ гр. Л. Толстого „Чѣмъ люди живы“, также, какъ оказывается, навѣяннымъ народнымъ творчествомъ. Ангелъ посланъ Богомъ на три года на землю и становится „за дытну“ у земледѣльца. Присутствіе его приносить хозяину во всемъ необыкновенную удачу. Ангелъ учитъ его добру, предпочтенію бѣдности богатству. Какъ и въ разсказѣ Толстого, въ урочное время онъ исчезаетъ: „розвернувъ крыла и полнувъ на небо“...

Эти разсказы на моральные и религіозные мотивы одни изъ самыхъ трогательныхъ произведеній народной поэзіи. Въ нихъ часты отступленія отъ буквы Писанія, но строгъ и выдержанъ его духъ. Селянинъ самъ сознаетъ свое невѣдѣніе, онъ часто не знаетъ словъ молитвы, но менѣе ли чиста отъ того его вѣра? Въ одномъ изъ разсказовъ (стр. 73) святой говоритъ мужику, едва знающему молитвы: „молись якъ моливсь, Богъ бачыть твои труда!“ И, сильный своею вѣрою, этотъ мужикъ идетъ къ святому „по водѣ какъ по сухому“. Самый строгій ригористъ едва ли замѣтитъ что нибудь противъ чувства, оживляющаго разсказъ. „Чому

цыганови брехать вильно“ (стр. 74), хотя онъ представляетъ, конечно, фантазію безграмотнаго простолюдина: „Когда евреи стали мучить Христа, то заказали цыгану-кузнецу выковать пять гвоздей, на руки, ноги и голову. Но у цыгана не хватило духу сковать гвоздь для головы, и когда онъ шелъ съ евреями къ Голгоѣ, то сталъ молить Бога, чтобъ на лобъ Христа въ ту минуту сѣла муха, которую мучители приняли бы за гвоздь. Такъ и случилось, и потому цыгану лгать не грѣхъ, такъ какъ своею выдумкою онъ избавилъ Христа отъ лишнихъ мученій.

\* \*

За отдѣломъ вѣрованій, представленій и моральнымъ слѣдуетъ въ сборникѣ бытовый и сказочный отдѣлы. Въ главѣ бытовыхъ разсказовъ стоятъ анекдоты о мужьяхъ и женахъ, гдѣ, конечно, достается женамъ. Столь же вѣчному вопросу о родителяхъ и дѣтяхъ посвященъ разсказъ: „Мать и сынъ“. Мать раздѣлила дѣтей и осталась жить у младшаго сына. Когда имущество все перешло дѣтямъ, они перестали мать не только почитать, но не стали давать ей ѣсть, заставляли спать на лавкѣ. На Пасху мать пошла къ старшему сыну, думая разговѣться у него. Когда онъ увидѣлъ мать, то велѣлъ женѣ спрятать пасхи, а самъ ушелъ въ садъ, разсчитывая, что она посидитъ и уйдетъ. Въ саду, вокругъ шеи обвилась у него огромная змѣя. Онъ понялъ, что это наказаніе Божіе, и сталъ просить мать освободить его. Но и она не могла ничего сдѣлать. Онъ ушелъ въ святые горы, каясь передъ всѣми въ своемъ грѣхѣ, и только послѣ многихъ лѣтъ освободился отъ змѣи.



Мораль большей части слѣдующихъ бытовыхъ рассказовъ чиста и нравственна. Въ „Неправедномъ или“ продавшій обманомъ бѣшеннаго кабана самъ сбѣсился, съѣвши его мяса, а купившему бѣдняку не сдѣлалось ничего. „Бидный просе богатство“ изобличаетъ жадность, жестоко наказанную въ концѣ концовъ. „Людеска правда“ учитъ, что люди вѣрятъ и потакаютъ только богатому. „Доля“ отличается фатализмомъ, доказывая, что у каждаго человѣка своя судьба, отъ которой не уйдешь. Высказываются и мысли далеко не радостныя. Такъ по словамъ одного рассказчика, „де дали—поганише“, т. е. все хуже жить. Маленькая сказка „Дитя и царь“ какъ будто написана Андерсеномъ, хотя рассказана какою то неграмотною нянькой Оленой. Дитя ухватило царя за усъ. За такую дерзость его хотѣли судить, но мудрый царь рѣшилъ иначе. Онъ велѣлъ поставить золото и огонь и привести ребенка. Если онъ ухватится за золото, значить дѣйствовалъ сознательно и достоинъ казни. Принесенное дитя, не обращая вниманія на золото, сейчасъ же потянулось къ огню и доказало свою невинность.

Маленькій отдѣлъ историческихъ легендъ изъ конкретныхъ историческихъ лицъ заключаетъ рассказы объ одномъ лишь Мазепѣ. Замѣчательно, какъ спутались понятія о немъ подъ вліяніемъ дѣйствовавшего на народный умъ, долго тяготѣвшаго на немъ церковнаго проклятія. Въ напечатанныхъ нынѣ легендахъ, онъ является волшебникомъ, заговорившимъ зарытые имъ клады, которыхъ нельзя взять не смотря на церковное

проклятіе. Історія съ Матреной Кочубеевной приобрѣтаетъ также чисто сказочный характеръ. Эта дѣвушка, будто бы проклятая матерью, стережетъ скарбы Мазепы, зарытые въ его черниговской „камяницѣ“, и, разъ въ годъ, ночью, „на Пречисту“, выходитъ на землю, прося, чтобы ее осѣнили крестомъ и сняли съ нея проклятіе. Эти и другія легенды изложены, къ сожалѣнію, сообщившимъ ихъ г. Журавскимъ, въ стихахъ и съ желаніемъ придать имъ литературный обликъ. Записывателямъ надо бы помнить, что для того, чтобы шлифовать эти народные самородки, нуженъ геній Гоголя и что обыкновенными, неумѣлыми руками лучше не трогать ихъ, чтобы не лишить природной красоты и наивности.

Почти въ каждомъ этнографическомъ сборникѣ преобладающее мѣсто занимаютъ фантастическія сказки,—этотъ излюбленный родъ народной устной словесности. Потребность отрѣшиться хотя на время отъ будничныхъ заботъ и условій дѣйствительности такъ сильна въ простолюдинѣ, что сказки свои онъ хранитъ во множествѣ въ памяти долгихъ поколѣній и онѣ интересуютъ почти одинаково и ребенка и взрослого. Не зная ничего иного, что могло бы измѣнить условія существованія, онъ вводитъ вездѣ въ нихъ чудодѣйственную силу и заставляетъ ее служить своимъ излюбленнымъ героямъ. Сказочные типы извѣстны давно и въ настоящемъ сборникѣ мы находимъ лишь новыхъ ихъ представителей. Тутъ злая мать хочетъ отравить сына по наущенію змія, и мудрый конь открывающій все напередъ Ивану; царь

и царскія дочки, младшую изъ которыхъ Иванъ заслуживаетъ себѣ въ жены, поражая змія; ихъ бракъ, послѣ котораго они „живутъ и хлѣбъ жуютъ“... Другой Иванъ, красавецъ, котораго отецъ проигралъ царю - змію, волшебница змѣева дочка, влюбленная въ Ивана и спасающая его, перекидываясь во время бѣгства то въ пшеницу, то въ церковь, то въ криницу... Сжато и чудеснымъ языкомъ изложена эта древняя сказка.

А тамъ опять „Батько и три сыны“, изъ коихъ третій „дурень“, но ему помогаетъ отецъ и служатъ волшебные кони, и онъ женится на дочери царя. Съ восторгомъ, съ загорѣвшими глазами слушаютъ дѣти эти стародавніе рассказы въ зимніе вечера, или лѣтомъ, собравшись въ кружокъ во время ночлеговъ въ полѣ; не менѣе увлекаются ими и взрослые...

Морально—фантастическія сказки выводятъ на сцену животныхъ. Птичка „Ятлыкъ“ (стр. 145) доказываетъ своими похождениями, что умъ и хитрость превосмогаютъ силу. Котъ, собака и змѣя, которыхъ пожалѣлъ хлопецъ, служатъ ему усердную службу. Змѣя оказывается зачарованною царскою дочкой и становится его женою, котъ и собака приносятъ ему пользу въ хозяйствѣ. Но все въ этихъ приключеніяхъ выходитъ изъ рамокъ дѣйствительности, все вырывается изъ нея, побѣждая ея условія.

Замѣчено давно, что въ чтеніи у грамотныхъ простолюдиновъ успѣхъ имѣютъ почти исключительно также фантастическія вещи. По своему выбору, на ярмаркѣ и базарѣ, мужикъ пріобрѣтаетъ

сказку, а не рассказъ или повѣсть писателя. Крестьянинъ не любитъ читать описанія своей жизни и быта, не любитъ морали, а требуетъ отъ книгъ иного: *того, чего онъ не знаетъ*. Въ беллетристикѣ—это сказка, въ остальномъ—дѣльная, серьезная книжка.

Безсиліе и безжизненность такъ называемой специально-народной литературы объясняются тѣмъ, что это литература фальшивая, безпочвенная. Отъ этихъ специально приготовленныхъ для него издѣлій народъ отворачивается. Надо писать простыя по языку, умныя и дѣльныя книги и продавать ихъ *дешево*. Надо не забывать также огромнаго этнографическаго разнообразія населенія Россіи. Изъ книгъ понятныхъ и дешевыхъ крестьянинъ сдѣлаетъ выборъ самъ и этимъ выборомъ покажетъ, что ему интересно и нужно.

Настала новая пора, жизнь народа быстро мѣняется и во внутреннемъ складѣ и во внѣшнихъ формахъ. Что выйдетъ изъ нея, какъ она сложится далѣе,—кто скажетъ это? Новые элементы сказываются пока въ отдѣльныхъ, разнородныхъ проявленіяхъ. Прежнее единство типа, обычаевъ, взглядовъ, то, что можно назвать коллективною душою народа, что вырабатывалось вѣками жизни въ одинаковыхъ условіяхъ,—отходить въ область прошлаго. Памятниками этихъ старыхъ „завѣтовъ деревни“ являются сборники вродѣ разсмотрѣннаго. Это уже исторія, къ которой можно относиться спокойно, гдѣ все обрисовывается ясно, гдѣ жизнь подвела свои итоги, а эти сборники—историческіе документы, такіе же цѣнные какъ письменные лѣтописи и акты.

---



# ИСКУССТВО.

## ПЕРЕПИСКА БЕТХОВЕНА.

---

Еще въ шестидесятихъ годахъ прошлаго вѣка, въ дополненіе къ біографіямъ Бетховена, стали появляться въ печати его письма, ставящія читателя съ авторомъ ихъ, такъ сказать, лицомъ къ лицу. Но сборники Ноля, Кехеля и Шёне не исчерпали всей сохранившейся переписки Бетховена, хотя вообще она была не обширна. Подобно многимъ музыкантамъ, Бетховень тратилъ не много почтовой бумаги. Года полтора назадъ въ Берлинѣ вышла новая серія писемъ, разысканныхъ и разобранныхъ докторомъ Калишеромъ. Продолжая свои поиски, этотъ ученый открылъ, уже послѣ изданія сборника, еще новые матеріалы, которые помѣстилъ въ специально - музыкальныхъ изданіяхъ. Французъ Шантавуанъ соединилъ письма сборника Калишера съ разбросанными по журналамъ и издалъ все вмѣстѣ отдѣльной книгой\*). И это собраніе, снабженное обстоятельными примѣчаніями, такимъ образомъ явилось болѣе полнымъ, чѣмъ нѣмецкій первоисточникъ. Книга обратила на себя вниманіе критики.

---

\*) Correspondance de Beethoven. Traductions, introduction et notes de I. Chantavoine. Paris 1904.

Мимоходомъ замѣтимъ, какъ вредно отражается на оцѣнкѣ книгъ обычай, принятый даже извѣстными писателями, только „проглядывать“ ихъ. Примѣнивши къ дѣлу этотъ пріемъ, Эмиль Фаге, напримѣръ, помѣстилъ въ „Revue“ очеркъ, дающій о перепискѣ Бетховена весьма искаженное представленіе\*. Фаге увѣряетъ, что содержаніемъ большей части бетховенскихъ писемъ являются гнѣвы и жалобы на лакеевъ, экономокъ, кухарокъ, швейцаровъ композитора, на его фактотума, добраго нѣмца Шиндлера и т. п. По прочтеніи книги оказывается, что жалобы эти, весьма основательныя и рисующія житейскую обстановку артиста, занимаютъ скромное мѣсто. Быстрыя обобщенія Фаге, между тѣмъ, уродуютъ образъ композитора; на основаніи ихъ критикъ рѣшается сказать, что „Бетховенъ не принадлежитъ къ мыслителямъ и даже, можетъ быть, не былъ уменъ!“ Неразрѣзанныя страницы книги скрыли отъ критика мысли глубокія и геніальныя. А дѣловой характеръ писемъ, которыя Бетховенъ писалъ только въ крайнихъ случаяхъ, поспѣшно принять имъ за выраженіе его мышленія...

\* \* \*

Въ перепискѣ Бетховена не встрѣчается, правда, широковыщательныхъ разсужденій объ искусствѣ, эстетическихъ трактатовъ облеченныхъ въ эпистолярную форму. „Писаніе не было никогда моимъ дѣломъ, говоритъ онъ, живу я только въ своей музыкѣ“. Каждое изъ его созданій пере-

---

\*) „Betchoven chez lui“ Revue 1904, 1 avril.

даетъ извѣстныя чувства. Но о нихъ онъ говоритъ языкомъ музыки. Въ письмахъ замѣчанія о музыкѣ встрѣчаются лишь мимоходомъ. Но письма отражаютъ душу и, почти не говоря о музыкѣ, Бетховенъ является въ нихъ музыкантомъ, и именно такимъ музыкантомъ, какимъ онъ былъ.

Въ одномъ изъ самыхъ одушевленныхъ посланій Бетховенъ пишетъ: „отъ внѣшняго надо идти къ внутреннему“. И если разсматривать съ этой точки зрѣнія его переписку, то, не встрѣчая въ ней описаній окружающаго, мы находимъ въ ней его самого, а въ немъ самомъ — его творчество. Біографы—Ноль, Тайеръ, давно рассказывали несложныя обстоятельства его жизни. Но иное дѣло прочесть въ біографіи, что Бетховенъ былъ чело-вѣкъ больной, что его мало поддерживали, много эксплуатировали, обкрадывали, обманывали, или увидѣть его, такъ сказать, воочію, въ борьбѣ съ болѣзнями, бѣдностью, формальностями и ябедами, со всѣми видами и формами несчастій и неудачъ. Есть художники, имѣющіе способность жить въ мірѣ грезъ, пренебрегая невзгодами дѣйствительности. И таковъ Бетховенъ. Онъ обладалъ въ высочайшей степени „способностью страданія“ и чуткостью, сдѣлавшей его особенно несчастнымъ. Неудача, разочарованіе, горе поражаютъ его тяжело. И эта чувствительность къ страданію является вдохновительницей его генія. Чѣмъ глубже и ниже онъ поверженъ, тѣмъ сильнѣе и выше подымается его гордый духъ. Этой силою протеста дышатъ всѣ его сочиненія. Тѣ же смѣны глубочайшей подавленности духа и его почти нечеловѣческой мощи

и энергіи отражаются и въ непоказныхъ и не-эффектныхъ на первый взглядъ письмахъ Бетховена.

Въ возрастѣ около 28 лѣтъ онъ постепенно сталъ терять слухъ и сдѣлался глухимъ. Люди, пораженные этимъ недугомъ, всѣ дѣлаются мрачными, подозрительными и грустными. Каково же переносить это несчастье музыканту? Кромѣ того всю жизнь онъ страдалъ мигренями, плохимъ состояніемъ желудка, умеръ отъ водянки... Въ такихъ условіяхъ трудно быть добрымъ, но онъ былъ добрѣ, хотя мрачный налетъ опутывалъ всѣ чувства и жизнь его.

Онъ любилъ разѣ въ жизни и былъ любимъ. Но причины, оставшіяся неизвѣстными, помѣшали его счастью, и онъ остался одинокимъ, вѣрный своей единственной привязанности. Въ сборникѣ помѣщены три его письма къ таинственной женщинѣ, дышавшія глубокой силой. „Еще въ постели, больной, несусь къ тебѣ мыслями, моя бессмертная любовь! То грустныя, то радостныя мечты мои рвутся къ тебѣ, спрашиваютъ судьбу, смирится ли она надъ нами? Я могу жить полною жизнью только близъ тебя, или не жить совсѣмъ. Да, я рѣшилъ странствовать далеко, пока явится возможность летѣть въ твои объятія, чувствовать себя вполнѣ „дома“ съ тобою и, сливъ наши души, подыматься также вмѣстѣ въ царство духовъ... Будь мужественна, — тѣмъ болѣе, что ты знаешь мою вѣрность тебѣ. Никогда сердце мое не будетъ принадлежать другой, никогда!“.

Не былъ онъ счастливъ и въ родныхъ. Братья были сухіе спекулянты, а невѣстки—грубыя жен-



щины, вдобавокъ весьма небезупречныхъ нравовъ. Всѣ родственныя чувства онъ сосредоточилъ на племянникѣ, юношѣ способномъ, но лишеннымъ сердца и доставлявшемъ дядѣ-воспитателю величайшія огорченія. Къ нему Бетховенъ былъ безконечно добрѣ, снисходителенъ, былъ его настоящимъ отцомъ. Рядъ писемъ доказываетъ, что не укротимый, страстный Бетховенъ умѣлъ быть даже нетерпѣливымъ, и свойство это обнаруживалъ всю жизнь по отношенію къ безпутному юношѣ.

Онъ жилъ для своего искусства, но никогда не обольщался и здѣсь. „Въ какомъ положеніи у васъ музыка?—спрашиваетъ онъ одного изъ друзей:—Слыхалъ ли уже ты одно изъ великихъ нашихъ произведеній? Великихъ!.. Въ сравненіи съ созданіями Всевышняго все мелко!“

„Истинный художникъ,—пишетъ онъ въ другой разъ,—не можетъ быть тщеславнымъ. Онъ знаетъ, что у искусства нѣтъ границъ. Онъ смутно чувствуетъ, насколько удаленъ отъ цѣли. И между тѣмъ какъ другіе славятъ его, онъ тоскуетъ, что не подошелъ и близко туда, откуда геній болѣе могучій свѣтитъ ему, какъ далекое солнце“...

У него развито отчетливое понятіе о границахъ музыкальнаго искусства и о томъ, что отличаетъ его отъ другихъ искусствъ. На просьбу поэта Вильгельма Герарда написать музыку къ нѣкоторымъ его стихотвореніямъ Бетховенъ отвѣчаетъ: „Я не могъ исполнить вашего желанія, такъ какъ стихи, присланные мнѣ вами, менѣе все годятся для пѣнія. Изображенія принадлежатъ живописи. Поэтъ, владѣющій описательнымъ даромъ, также можетъ

считать себя счастливымъ сравнительно съ моею музыкой. Его власть въ этомъ случаѣ не такъ ограничена, какъ моя, которая зато простирается гораздо дальше въ другія области и на такое разстояніе, что и границы его видѣть не легко“...

Музыка одна можетъ дать Бетховену чувство, которое онъ преслѣдовалъ всегда страстнымъ желаніемъ: счастье и радость. „Переноситься въ заоблачную высь искусства, — нѣтъ радости болѣе свѣтлой, менѣе тревожной, болѣе чистой!“ Музыка достигаетъ предѣловъ, недоступныхъ ни живописцу, ни поэту, ни мыслителю. Въ пору своего полнаго развитія, глухой музыкантъ ищетъ въ ней отвѣта не только на тайны своей души, но и на тайны природы, ибо, сами по себѣ, „лѣса, деревья, скалы не даютъ отвѣта, какой спрашиваетъ и ищетъ у нихъ человѣкъ“...

Величіе своей задачи присуще ему всегда, а девизъ одного изъ его созданій—„черезъ страданіе къ радости“, — могъ бы быть девизомъ его творчества. Онъ чувствуетъ, что творитъ на благо человечества и таинственнымъ, непонятнымъ путемъ способствуетъ его возвышенію, совершенствованію и счастію...

\* \* \*

— „Ты знаешь его жизнь? — спрашиваетъ музыкантъ Киттель героя гниги Тэна „Memoires de M-r Graindorge“, въ тотъ вечеръ когда онъ играетъ одну за другой бетховенскія сонаты, а другъ слушаетъ ихъ. И даетъ прочесть біографію Бетховена, написанную Шиндлеромъ, фактотумомъ маэстро, представляющимъ совершен-

ное подобіе Вагнера при Фаустѣ-композиторѣ. Грендоржъ читаетъ сухое но добросовѣстное повѣствованіе Шиндлера и дѣлаетъ изъ него свои выводы.

„Душа, которая только-что раскрылась передо мною, облагороживала все внѣшнее. Предо мной возставалъ человѣкъ въ старомъ плащѣ, измятой шляпѣ съ широкими плечами, небритой бородой, обильной, всклокоченной шевелюрой, идущій босикомъ по росистой травѣ, раннимъ утромъ. Вотъ онъ присаживается у расколотаго пня дерева и вынувъ нотную тетрадь, пишетъ строфы „Фиделіо“ или „Христа въ Геосиманскомъ саду“. Онъ идетъ впередъ, не видя передъ собой препятствій, не чувствуя дождя и вѣтра. Возвращается вечеромъ въ беспорядочную комнату, полную разбросанныхъ нотныхъ рукописей и книгъ, гдѣ стоятъ опороженные бутылки, остатки завтрака, корректуры нотъ, сложенные въ кучу. Обыкновенно печальный и мрачный, вдругъ, со страннымъ выраженіемъ, онъ подходитъ къ роялю и руки его начинаютъ бѣгать по клавишамъ, между тѣмъ какъ что-то похожее на улыбку искривляетъ его лицо... Онъ молчаливъ, сосредоточенъ, слушаетъ музыку съ неподвижностью статуи. Во всемъ у него нѣтъ мѣры, онъ не можетъ приспособиться къ жизни. Но источникъ этихъ странностей—лишь избытокъ душевнаго величія и великодушія. Онъ жилъ душой въ идеальномъ мірѣ, который описали Петрарка и Данте, но страсть не уменьшила его чистоты. Не имѣя возможности жениться, онъ остался цѣломудреннымъ и любилъ такъ же чисто

какъ творилъ. Онъ ненавидѣлъ легкомысленныя бесѣды и бранилъ „Донъ-Жуана“ Моцарта не потому только, что находилъ въ немъ итальянскія формы, но оттого, „что святое искусство не должно унижать себя, служа ширмами для такихъ скандальныхъ похощеній“. То же величіе души вносить онъ и во всѣ дѣла жизни, всегда гордый по отношенію къ сильнымъ, ожидающій, чтобы они первые поклонились ему, сохраняя тотъ же тонъ съ самыми могущественными, считая условности и свѣтскія приличія—ложью и, подобно Платону, живущій съ надеждою на строй, въ которомъ будутъ только граждане и герои. Въ самой глубинѣ его сердца жилъ инстинктъ еще болѣе высокій, чувство божественнаго и святого. По его мнѣнію человѣческій языкъ и искусства не могли выразить этого чувства, и только музыкѣ, до известной степени, онъ считалъ его доступнымъ...”

Великолѣпная характеристика Тэна припоминается при чтеніи писемъ Бетховена. Высокій идеализмъ, благородная гордость, пылкая любовь къ одной избранницѣ и вѣрность немногимъ друзьямъ отличаютъ ихъ. Книга кончается нѣсколькими строками завѣщанія.

Мятежный духъ Бетховена отошелъ въ вѣчность вечеромъ 26 марта 1827 г. по странной, какъ бы символической случайности, во время сильной грозы, потрясавшей стѣны и окна бѣднаго дома, въ которомъ онъ жилъ...

---



## НЕИЗДАННОЕ СОЧИНЕНІЕ ГЛИНКИ.

---

Въ апрѣлѣ 1838 года Михаилъ Ивановичъ Глинка былъ посланъ изъ Петербурга въ Малороссію для набора пѣвчихъ въ придворную капеллу. Мих. Ив. предполагалъ посѣтить многіе уголки Малороссіи и остановки свои началъ съ Чернигова. Здѣсь, изъ архіерейскаго и семинарскаго хоровъ, было выбрано восемь человѣкъ. Пробовали ихъ слухъ и голосъ, и Глинка отмѣчаетъ въ своихъ „Запискахъ“ удивленіе сопровождавшаго его учителя пѣнія, Палагина, производившаго эти опыты. Мальчики были одарены столь тонкимъ слухомъ, что слѣдили непринужденно за всевозможными интервалами, даже за музыкальной чепухой, которую изошрялся производить Палагинъ нарочно, чтобъ сбить ихъ.

„Центромъ моихъ операцій, рассказываетъ Глинка въ „Запискахъ“, я выбралъ помѣстье добраго моего знакомаго, помѣщика Черниговской губерніи Борзенскаго повѣта, Григорія Степановича Тарновскаго, куда мы съ набранными въ Черниговѣ дѣтьми и отправились. Съѣхавъ съ большой дороги въ Монастырищѣ, мы съ трудомъ, въ теченіе почти цѣлаго майскаго дня, перебирались на волахъ по разметанной водою греблѣ. Переночевавъ въ Ичні, на другой день были въ помѣстьѣ Тарновскаго, „Качановкѣ“.

Съ Г. С. Почекой-Тарновскимъ Глинка познакомился въ Петербургѣ, куда въ теченіе нѣсколь

кихъ лѣтъ, съ цѣлымъ штатомъ домочадцевъ и слугъ, черниговскій панъ перебирался по зимамъ на жительство изъ своего далекаго хутора. Тарновскій не прочь былъ разыграть роль мецената, собиралъ у себя кое-кого изъ художниковъ и писателей. Онъ хорошо знакомъ былъ съ Несторомъ Кукольникомъ, черезъ котораго, очевидно, узналъ и пріятеля его Глинку.

Первое впечатлѣніе, произведенное на Глинку Качановкой, было чрезвычайно благопріятно, да инымъ и быть не могло. Ея прелесть составляетъ единственный въ своемъ родѣ вѣковой паркъ, на пространствѣ шестисотъ десятинъ окружающій усадьбу. Поселеніе это возникло во времена польскаго владычества на Украинѣ. Послѣ своего основателя, Качановскаго, усадьба переходила послѣдовательно къ извѣстному Саввѣ Рагузинскому, фельдмаршалу Румянцеву и отъ него, путемъ купли,—къ нѣжинскому помѣщику Тарновскому-Почекѣ.

Осмотрѣвшись у своего знакомца, Глинка нашелъ основаніе для замѣчаній, какія и отмѣтилъ въ „Запискахъ“:

„Домъ былъ какъ будто не оконченъ, дорожки въ саду не додѣланы. Былъ у владѣльца и оркестръ, но неполный и духовые инструменты не всѣ исправны. Даже управляющій оркестромъ, первый скрипачъ Михайло Калинычъ, былъ нѣсколько туго на-ухо. За обѣдомъ подавали нѣсколько блюдъ, но поваръ, вѣроятно, былъ недоученъ. Однимъ словомъ, все обличало излишнюю расчетливость хозяина, владѣвшаго 9,000 душъ и большими капиталами... Хозяинъ принялъ насъ радушно и отвелъ мнѣ съ помощниками помѣщеніе въ оранжереѣ, которая примыкала къ дому“.

Отдохнувъ здѣсь нѣсколько времени, Глинка съ своими помощниками отправился въ гор. Переяславъ, гдѣ находился хоръ полтавскаго архіерея Гедеона.

Въ „Запискахъ“ онъ рассказываетъ, какъ помощники его пробрались въ церковь подъ видомъ купцовъ, чтобы услышать лучшіе голоса хора, которые архіерей, узнавъ объ истинныхъ ихъ цѣляхъ, могъ бы припрятать. Они даже пили чай у архіерея послѣ обѣдни, что не помѣшало имъ потомъ „совершенно обогреть хоръ“. Самъ Глинка, оставшійся на квартирѣ, былъ принятъ мѣстнымъ городничимъ за ревизора изъ Петербурга, и только неохота его къ этому помѣшала ему повторить гоголевскую комедію. Потомъ, для набора пѣвчихъ, ѣздили въ Полтаву, Харьковъ и Ахтырку.

Но за этими выѣздами, большую часть весны и лѣта Глинка былъ гостемъ Качановки, гдѣ и отдыхалъ и работалъ. Въ тамошнемъ паркѣ сохранился павильонъ, и теперь называемый „бесѣдкою Глинки“, гдѣ онъ проводилъ цѣлые дни. Въ этой бесѣдкѣ поставлено было фортепьяно и письменный столъ. Уцѣлѣла картина Штернберга, изображающая Глинку, сидящаго тамъ за работою.

„Съ окончаніемъ набора пѣвчихъ, пишетъ М. И., мы прожили у Тарновскаго долго. Онъ былъ самолюбивъ и мысль, что придворные пѣвчіе поютъ съ его хоромъ, въ его церкви, видимо, его радовала.

Григорію Степанову было лѣтъ подъ 50. Онъ былъ смуглъ и сухъ, числился гдѣ-то на службѣ и состоялъ въ званіи Камеръ-юнкера. Анна Дмитріевна, жена его, была женщина приземистая и весьма толстая, очень молчаливая. Любила, что-

бы дѣвки растирали ей ноги. Въ домѣ жили и воспитанницы, племянницы хозяевъ, большею частью молодыя, добрыя и привѣтливыя дѣвушки. Во все пребываніе мое въ Малороссіи гостилъ въ Качановкѣ талантливый нашъ художникъ, очень пріятный молодой человѣкъ, Штернбергъ“.

Восемнадцатилѣтняго юношу Штернберга познакомилъ съ Тарновскимъ въ 1836 году тогдашній начальникъ Академіи художествъ Вас. Ив. Григоровичъ, также малороссъ \*) Талантъ юнаго пейзажиста и жанриста обращалъ въ то время на себя общее вниманіе въ академіи. Знакомство съ природой и бытомъ Южной Россіи могло принести ему большую пользу, и Штернбергъ, принявъ приглашеніе Тарновскаго, въ теченіе трехъ лѣтъ,—1836—1838 годовъ,—съ весны до поздней осени проживалъ въ его имѣніи. Оттуда этотъ безвременно вскорѣ послѣ того скончавшійся художникъ вывозилъ множество этюдовъ и тамъ же написалъ нѣсколько интересныхъ бытовыхъ картинъ. Въ альбомахъ и отдѣльных картинкахъ онъ набросалъ и нѣсколько сценокъ изъ пребыванія въ Качановкѣ М. И. Глинки.

Нѣсколько нумеровъ изъ „Руслана“ написаны Глинкою въ то лѣто 1838 г. въ Качановкѣ и впервые исполнялись здѣсь крѣпостнымъ оркестромъ и пѣвцами Тарновскаго. Таковы персидскій хоръ и маршъ Черномора. Въ маршѣ Черномора недостававшіе въ оркестрѣ колокольчики замѣнили рюмками, на которыхъ чрезвычайно ловко игралъ Палагинъ. Тутъ же писалась балада Финна. Сосѣдъ

---

\* „Вѣстникъ Изящн. Искусствъ“ 1887, выпускъ V. Статья о Штернбергѣ В. В. Стасова.



Тарновскаго, Ник. Андр. Марковичъ, авторъ пятитомной „Исторіи Малороссіи“, стихотвореній и этнографическихъ трудовъ и пансіонскій товарищъ Глинка, помогаль ему въ составленіи текста этой балады. Онъ сократилъ пушкинскій рассказъ и поддѣлалъ въ немъ столько стиховъ, сколько требовалось для округленія пьесы.

„Мнѣ очень памятно время,—разсказываетъ Глинка,—когда я писалъ баладу Финна. Было тепло, собирались вмѣстѣ я, Штернбергъ и Марковичъ. Покажѣсть я уписывалъ приготовленные уже послѣдніе стихи, Марковичъ грызъ перо (не легко ему было въ добавочныхъ стихахъ поддѣлываться подъ стихи Пушкина), а Штернбергъ усердно и весело работалъ своею кистью. Когда балада была кончена, я неоднократно ее пѣлъ съ оркестромъ“.

Арія Людмилы: „Вдали отъ милаго“ сочинялась тамъ же и исполнена была впервые одною изъ крѣпостныхъ пѣвицъ. Въ повѣсти своей „Музыкантъ“, изображающей горькую долю крѣпостныхъ артистовъ, Шевченко записалъ преданіе, какъ растроганный Глинка, послѣ исполненія этой аріи, подошелъ въ слезахъ и поцѣловалъ руку исполнявшей ее пѣвицы, къ возмущенному изумленію присутствовавшей помѣщицъей публики \*).

Малороссійскій поэтъ Викторъ Забѣла также иногда гостилъ въ Качановкѣ. Двѣ его малороссійскія пьесы „Гуде витерь вельми въ поли“ и „Не щебечи, соловейко“ Глинка положилъ тогда же на музыку. О Забѣлѣ вспоминаетъ Глинка въ „Запискахъ“, разсказывая о ночныхъ сходкахъ въ

---

\* Т. Шевченко. „Поэмы, повѣсти и разсказы“. Кіевъ. 1888.

Качановкѣ, одну изъ которыхъ изобразилъ своею кистью Штейнбергъ.

„Забѣла былъ необыкновенный мастеръ изображать въ лицахъ. Въ особенности хорошо представлялъ онъ слѣпцовъ. Первый скрипачъ Калинычъ однажды былъ приведенъ отъ такого представленія въ столь сильный восторгъ, что воскликнулъ: „Это, сударь мой, волшебство! Совершенный антикъ!“ Хозяинъ, который говорилъ такимъ же ломанымъ языкомъ, какъ и первый скрипачъ его, былъ чрезвычайно аккуратенъ, и всѣ наши удовольствія и сюрпризы непременно оканчивались до полуночи и ранѣе, причемъ хозяинъ вѣжливо раскланивался и гости расходились.

Но не всѣ предавались сну. У меня въ оранжереѣ собирались Марковичъ, Скоропадскій, Забѣла и Штернбергъ. Появляется Палагинъ, со скрипкою, Яковъ (камердинеръ Глинки) съ контрабасомъ и виолончелистъ. Играли русскія и малороссійскія пѣсни, представляли въ лицахъ и бесѣдовали дружески иногда до трехъ и четырехъ часовъ пополудни къ нѣкоторой досадѣ аккуратнаго хозяина. Эти сцены повторялись часто и Штернбергъ удачно изобразилъ наши сходки, равно какъ и ловко потрафилъ Забѣлу“.

Въ іюлѣ того года Тарновскій устроилъ въ своемъ домѣ какое-то нарочитое и многолюдное празднество, и его гости-художники приподнесли ему съ своей стороны посильный сюрпризъ. Сочинена была кантата, слова которой писалъ Марковичъ, или Штернбергъ и Марковичъ вмѣстѣ, а музыку—голосъ съ сопровожденіемъ хора и оркестра,—М. И. Глинка. Въ своихъ „Запискахъ“ онъ не вспоминаетъ объ этой вещи. Но подлинная, черновая рукопись этого неизданнаго сочиненія Глинки хранится въ Черниговѣ, въ музеѣ, пожертвованномъ В. В. Тарновскимъ черниговскому земству. Подлинность ея, кромѣ почерка

Глинка, засвидѣтельствована и собственоручною надписью Марковича, сдѣланною на выходномъ листѣ рукописи: „Партитура, писанная начерно Мих. Ив. Глинкою на мои слова и пѣтая имъ самимъ въ Качановкѣ въ 1838 г., въ честь угощавшаго насъ въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ Григорія Степановича Тарновскаго“. Но кто затеръ слова: по уничтоженію ли паче гордости хозяинъ, или по угрызеніямъ совѣсти Глинка?..“ Почему „угрызенія совѣсти“ должны были мучить Глинку, а не автора довольно льстивыхъ словъ кантаты, этого въ своей странной надписи Марковичъ не разъясняетъ.

Съ автографа Глинка сдѣлана точная копія подъ обязательнымъ наблюденіемъ завѣдующаго черниговскимъ земскимъ музеемъ А. П. Шелухина. Фортепьянное переложеніе оркестроваго сопровожденія сдѣлано даровитымъ композиторомъ Александромъ Константиновичемъ Глазуновымъ. Музыка хора не дописана Глинкой и дается въ нашей копіи въ своемъ отрывочномъ видѣ, какъ памятникъ-документъ. Вотъ полный текстъ этой характерной кантаты \*):

Прекрасенъ, о хозяинъ милый,  
Очарователенъ твой домъ!  
Какой живительною силой  
Для насъ исполненъ твой пріемъ!  
Тебѣ съ гармоніей отъ чувства  
Даетъ поэзія привѣтъ,  
Благодарятъ тебя искусства  
И яркій живописи свѣтъ.

---

\*) Музыка ея помѣщена въ приложеніи къ книгѣ.

Глянь, какъ радостны всѣ лица! \*).

Пусть кипитъ вино струей  
Въ честь тебѣ и вамъ, дѣвицы,  
И хозяйкѣ дорогой.

Насъ чаровали ночи Юга  
Малороссійской теплотой,  
Когда, на зелени мы луга,  
Подъ звукъ волторны, подъ гобой,  
Шампанское въ бокалы лили,  
Когда свѣтлѣй, чѣмъ наши дни,  
Межъ померанцами свѣтили  
Равнообразные огни.

Глянь, какъ радостны всѣ лица!

п т. д.

Пусть Качановка золотая  
И твой тѣнистый, темный садъ  
Красуются, какъ уголь рая,  
Въ нихъ было столько намъ отрадъ!  
Мы молимъ Бога, чтобъ достался  
Вамъ долгій вѣкъ въ толпѣ друзей,  
Чтобы ты счастьемъ наслаждался  
И съ Анной Дмитріевной твоей \*\*)

Глянь, какъ радостны всѣ лица!

Пусть кипитъ вино струей  
Въ честь тебѣ и вамъ, дѣвицы,  
И хозяйкѣ дорогой.

О музыкѣ кантаты, въ письмѣ къ намъ, А. К. Глазуновъ замѣчаетъ, что „главная мелодія пьесы нѣкоторыми оборотами вполне напоминаетъ складъ романсовъ Глинки періода тридцатыхъ годовъ, такъ что въ подлинности партитуры и принадлежности ея перу Глинки нельзя сомнѣваться...

\*) Правописаніе подлинника.

\*\*) Противъ этой строки, на полѣ рукописи, приписка карандашемъ другимъ почеркомъ: „Съ хозяйкой милою твоей“.



Верхняя строка партитуры, передъ которой слогъ *самр.*, означаетъ *sampanelli*, т. е. колокольчики“. Изъ записокъ Глинки мы видѣли, что колокольчики въ качановскомъ оркестрѣ замѣнены были рюмками, благодаря находчивости и искусству музыканта Палагина. Очевидно, этотъ *tour de force* чрезвычайно занималъ качановскую публику, и Глинка ввелъ эти рюмочки и въ свой привѣтственный романсъ. По воспоминаніямъ мѣстныхъ старожиловъ, Палагинъ игралъ на бокальчикахъ и рюмочкахъ, сидя за накрытымъ скатертью столомъ, впереди оркестра. У каждого стаканчика была приклеена этикетка съ названіемъ издаваемого звука...

Возвратясь въ Петербургъ изъ Малороссіи, Глинка писалъ Марковичу 20-го сентября того же 38-го года: „Здѣсь вѣчная суета и тревога, отъ которой пустѣетъ голова и сердце. Какъ ты во сто разъ счастливѣе въ Малороссіи, такъ я часто вспоминаю о безпечныхъ и мирныхъ дняхъ, мною тамъ проведенныхъ. Богъ знаетъ, возвратятся ли они когда, или нѣтъ!..“ \*) Быть можетъ, такіе дни вернулись для Глинки, хотя, судя по запискамъ его, у него ихъ вообще было немного. Но самъ онъ въ Малороссію не вернулся никогда.

Какъ ни привычны были въ то время такія явленія, какъ крѣпостные музыканты, артисты и т. п., какъ ни казались они обычными, но, разумѣется, Глинка относился къ нимъ не такъ, какъ большинство тогдашняго общества. Мы видѣли

---

\*) „Записки и письма Глинки“, стр. 219.

уже его „выходку“ съ пѣвицей-рабыней. Тотъ же Шевченко рассказываетъ о другомъ артистѣ, скрипачѣ большого таланта, крѣпостномъ полтавскаго помѣщика Петра Галагана, объ освобожденіи котораго на волю просилъ владѣльца Глинка. Просьба его не имѣла успѣха.

Украинскій поэтъ описываетъ восторгъ, въ какой привело его исполненіе этимъ скрипачемъ аріи изъ „Преціозы“ Вебера: „Всматриваясь въ лицо музыканта,—пишетъ онъ,—я вспоминалъ, гдѣ его видѣлъ? И вспомнилъ, что видѣлъ за обѣдомъ, за стуломъ хозяина, съ рукой, обернутой въ салфетку. Мнѣ сдѣлалось почти дурно отъ такого открытія...“ Скрипачъ, лучший ученикъ Шпора, прислуживалъ за господскимъ столомъ въ часы, когда не игралъ въ оркестрѣ.

Многое измѣняется на свѣтѣ, и что кажется обычнымъ сегодня, представляется чудовищнымъ завтра. И Григорій Степановичъ Тарновскій, принимая хвалебный „привѣтъ“ своего гостя, едва ли могъ представить, что, полвѣка спустя, его крѣпостническая память будетъ вызывать совсѣмъ инныя чувства...

---

## ОПЕРНЫЙ ШОПЕНЪ.

---

Въ томъ самомъ театрѣ, хотъ перестроенномъ и передѣланномъ, гдѣ семьдесятъ пять лѣтъ назадъ Шопенъ аплодировалъ дебюту своей товарки по консерваторіи Констанціи Гладковской, которую „безумно, безнадежно“ любилъ,—я видѣлъ Фридриха Шопена. Онъ явился „bohaterem“—героемъ переведенной по-польски оперы Орефиче. Поставленная въ Миланѣ опера начинаетъ обходить европейскія сцены, доберется, вѣроятно, и до русскихихъ.

Итальянецъ-либретистъ перечелъ, очевидно, біографовъ Шопена, книги Листа, Шумана, записки Жоржъ Зандъ. Потомъ отодвинулъ въ сторону этотъ документальный арсеналь, вспомнилъ завѣты оперныхъ сценаріевъ и выкроилъ либретто по всѣмъ незыблемымъ правиламъ этого искусства. Осталось нѣсколько чертъ дѣйствительнаго, историческаго Шопена и достаточное количество обыкновеннаго опернаго героя. Музыкантъ былъ похитрѣе и дѣйствовалъ съ болѣе вѣрнымъ расчетомъ. Изъ безцѣнной сокровищницы шопеновскихъ мелодій онъ взялъ всѣ свои „краски“, составилъ изъ нихъ всю музыку оперы. Прелюдіи,

ноктюрны, *impromptus*, баллады, вальсы превратились въ аріи, дуэты, антракты, хоры. Нельзя отказывать въ сообразительности „композитору“. Нѣтъ музыки болѣе личной, чѣмъ музыка Шопена. Въ ней всѣ его чувства, вся его душа. Невозможно вѣрнѣе нарисовать великаго художника, какъ его собственными звуками. Но гдѣ же предѣлъ для подобнаго опернаго творчества? Сегодня такимъ способомъ намъ изобразить Шопена, завтра Шумана, потомъ Бетховена... И тѣмъ не менѣе мелодіи Шопена такъ упоительны, его образъ, хоть и искаженный либретистомъ, такъ трогателенъ, что фокусъ Орефиче невольно забывается и даже прощается ему, и опера пріобрѣтаетъ какое-то особое значеніе и интересъ.

Казнить либретиста начинаешь мысленно потомъ, припоминая ходъ измышленнаго имъ „дѣйства“ и сопоставляя его съ дѣйствительными событіями. Въ живописной деревнѣ, среди добрыхъ родныхъ друзей, на глазахъ у любящей его дѣвушки, Стеллы, Шопень томится узостью родного горизонта, рвется къ далекимъ, невѣдомымъ берегамъ, мечтаетъ о славѣ. Все это было, да было не такъ! Зласова Воля, гдѣ Шопень провелъ только дѣтство, увы, совсѣмъ не живописна. Юношей и молодымъ человѣкомъ онъ жилъ уже въ Варшавѣ, откуда и уѣхалъ за границу въ 1829 г.,—уѣхалъ навсегда. Никакая Стелла его не любила, а самъ онъ любилъ, или воображалъ, что любить молодую пѣвицу Гладковскую. Что это увлеченіе не было серьезно, доказывается тѣмъ, что къ союзу съ Гладковской Шопень не сдѣлалъ ни одного



шага, хотя къ нему не было ни малѣйшихъ препятствій.

Другое дѣло любовь къ Жоржъ Зандъ, которую во второмъ актѣ оперы мы видимъ въ образѣ Флоры. Тутъ онъ любилъ мучительно и глубоко. Былъ ли онъ самъ любимъ? Въ своихъ запискахъ Жоржъ Зандъ говоритъ лишь о дружбѣ, но, конечно, это только *façon de parler*, такъ какъ знаменитый союзъ не нарушался нѣсколько лѣтъ.

Шопенъ, по воспоминаніямъ всѣхъ его знавшихъ, умѣлъ быть очаровательнымъ. У него былъ геній. Душа Жоржъ Зандъ была цѣлымъ кладомъ поэзіи и чувства. Но кто разберетъ эти души художниковъ? Такъ онѣ сложны! Шопенъ былъ невыносимо капризенъ. При всей личной его добротѣ, творческій эгоизмъ побѣждалъ въ немъ все остальное. Этотъ, какъ называетъ его Гейне, „уроженецъ иной, дивной страны“, у котораго „всегда хотѣлось разспросить о томъ, что дѣлается въ томъ волшебномъ мірѣ“, въ обыкновенной жизни былъ, вѣроятно, чрезвычайно тяжелъ. Жоржъ Зандъ, въ романахъ прославившая вѣчную любовь и всѣ ея муки, покинула сама и Мюссе, и Шопена, и другихъ, безъ всякихъ терзаній, не оставляя ни на минуту романическихъ вымысловъ и не прерывая литературной работы. Назвать ли это черствостью, безсердечіемъ? Нѣтъ,—это только преобладаніе творческой дѣятельности надъ всѣмъ остальнымъ, перевѣсъ духовной жизни надъ дѣйствительною и матеріальною и невольное, повелѣваемое природой, принесеніе ей въ жертву всего другого.

Жоржъ Зандъ увѣряла, что покинуть Шопена ее заставила февральская революція и интересы, ею вызванные. Но въ то время она, безъ сомнѣнія, его уже совершенно не любила. Подобно Мюссе, Шопенъ, по своему, продолжалъ ее любить до конца жизни. Не напрасно утверждаютъ, что любовь мужчины сильнѣе, вѣрнѣе, глубже, чѣмъ женская любовь, если даже такая женщина была столь переменчива! Мало того: подчиняясь писательской привычкѣ видѣть въ жизни только матеріаль для творчества, въ „*Lucrecia Floriani*“ Жоржъ Зандъ изобразила свой романъ съ Шопеномъ какъ раньше въ „*Elle et Lui*“ воспроизвела любовную исторію съ Мюссе. Въ принцѣ Каролѣ всѣ узнали Шопена. Узналъ себя и онъ самъ. Правда, что и пѣвица Флоріани нарисована не розовыми красками. У нея трое дѣтей отъ трехъ разныхъ отцовъ. Чтобъ отвести глаза, романистка, очевидно, умышленно сгустила краски, такъ какъ въ дѣйствительности не было ничего подобнаго...

Но либретисты пишутъ всегда не только розовыми красками, а разводятъ ихъ и розовой водицей. Часто они, впрочемъ, впадаютъ въ излишнее усердіе и не вѣдаютъ сами, что творятъ. Въ оперѣ Орефиче Шопенъ живетъ какъ бы на „изживеніи“ у Флоры, которая только и дѣло, что ухаживаетъ за нимъ. Почему-то оба они окружены толпою дѣтей,—вѣроятно, учениковъ и ученицъ Шопена. Но кто же не знаетъ, что Шопенъ училъ музыкѣ только взрослыхъ, выбирая изъ нихъ лишь талантливыхъ? Уроки и сочиненія доставляли ему значительныя средства, которыхъ, правда, съ шири-

ною художественной природы, онъ совершенно не щадила, такъ что умеръ въ совершенной бѣдности. Но это было уже много времени спустя.

Пребываніе съ Флорой въ заброшенномъ монастырѣ, составляющее содержаніе третьяго акта, изображаетъ извѣстную зимовку Шопена и Жоржъ Зандъ на островѣ Маіоркѣ. Изъ „Исторіи моей жизни“ и „Un hiver à Majorque“ мы знаемъ, что эта живописная обитель былъ закрытый картезіанскій монастырь Вольдемара. Здѣсь Шопенъ написалъ нѣкоторыя изъ самыхъ лучшихъ своихъ вещей. Но романтическая монастырская обстановка соединялась съ такими ужасными неудобствами, что даже столь мечтательно настроенные люди, какъ Жоржъ Зандъ и Шопенъ, бѣжали оттуда безъ оглядки къ проклинаемой ими цивилизаціи.

Либретистъ въ этомъ актѣ едва коснулся разлада, уже зародившагося тогда между его героями. Симпатіи его, впрочемъ, всегда на сторонѣ Шопена. Но вызвать ихъ онъ не стремится рутинными приѣмами. Чтобъ изобразить доброту Шопена, онъ вывелъ, наприимѣръ, приторный эпизодъ со смертью дѣвочки, которую оплакиваетъ Шопенъ, воспользовавшись для этого простымъ и вовсе не трагическимъ случаемъ, рассказаннымъ Жоржъ Зандъ въ своихъ запискахъ.

Болѣзнь и смерть Шопена, покинутого Флорой, составляютъ сущность четвертаго акта. Какъ подабаешь уважающему себя либретисту, Орвіето вывелъ здѣсь „первую любовь“ Шопена, являющуюся къ постели умирающаго. Ничего подобнаго на самомъ дѣлѣ не было. Кончина великаго ар-

тиста произошла гораздо проще и трагичнѣе. Флора—Жоржъ Зандъ, узнавъ о его тяжеломъ положеніи, въ дѣйствительности явилась къ нему, но не была допущена окружающими.

Но всѣ разсказанныя сцены сопровождаются музыкой, въ которой дѣйствительно разлиты и слезы, и страданіе, и мучительные сны, и волшебныя видѣнія,—музыкой Шопена. Она облагораживаетъ и сглаживаетъ ошибки либретиста. На долю „композитора“ остается признаніе его ловкой находчивости, а слава—на долю Шопена. Исполняется шопеновская музыка въ Варшавѣ съ благоговѣйнымъ стараніемъ. „Шопена, играющаго вальсъ, который, по словамъ Шумана,—можно исполнять только тогда, когда, по крайней мѣрѣ, половина изъ присутствующихъ дамъ будетъ княгинями“, изображаетъ за сценой профессоръ консерваторіи Михайловскій. Извѣстный скрипачъ Барцевичъ чудесно играетъ знаменитѣйшую изъ *préludes*, обращенную въ антрактъ передъ четвертымъ дѣйствіемъ. Теноръ Лелива—обладатель хорошаго голоса, старательно поетъ главную партію. Онъ не удовлетворяетъ, конечно, какъ актеръ, но это не его вина. Давно извѣстно, что изображеніе великихъ людей подѣлать только великимъ артистамъ, а послѣдніе столь же рѣдки, какъ и первые...

---



# ДѢЛА ФРАНКО-РУССКІЯ.

## ПЕРЕВОДЧИКИ-ОБРУСИТЕЛИ.

---

Распространеніе на Западѣ произведеній русской литературы представляется фактомъ очень отраднымъ, и наша печать внимательно слѣдитъ за новыми явленіями въ этой области. Дѣло стоитъ нынѣ на твердой почвѣ и настала пора внимательнѣе взглянуть на то, въ какомъ видѣ преподносятся иностранцамъ произведенія русскихъ писателей? Наши замѣчанія и дѣлавшіяся при чтеніи отмѣтки относятся къ французскимъ переводамъ и переводчикамъ.

Литературная практика доказала давно, что переводчикъ, особенно произведенія художественнаго, долженъ въ равной степени владѣть обоими языками: и тѣмъ, съ котораго, и тѣмъ, на который переводить. „Владѣть“ не означаетъ здѣсь только обладать лексическимъ и грамматическимъ знаніемъ рѣчи. Надо умѣть передать всѣ оттѣнки мысли и чувства, подчинять слово, въ духѣ даннаго языка, требованіямъ того и другого въ такой мѣрѣ, чтобы оно было ихъ послушнымъ и гибкимъ орудіемъ.

Ясно отсюда, что на русскій языкъ со всякаго другого лучше всего будутъ переводить русскіе, на нѣмецкій—нѣмцы и т. д. Малое распространеніе

русскаго языка еще лѣтъ двадцать назадъ было причиною того, что дѣло переводовъ съ русскаго съ самаго начала поставлено было не совсѣмъ правильно. Переводили сперва свѣтскіе дилетанты, хромающіе вообще по части литературы, а потомъ занялись этимъ нѣкоторые россияне, преимущественно изъ уроженцевъ черты еврейской осѣдлости.

Занимались, впрочемъ, этимъ и чистокровные россы, по недостаточности своихъ силъ привлекавшіе къ дѣлу помощниковъ-французовъ. Литература—дѣло единоличное. Всякій литературный союзъ на-поминаетъ всего чаще героевъ Крыловской басни. Къ тому же помощники-французы были, разумѣется, писатели не изъ важныхъ, а всего чаще и никакіе. Да и не могли, конечно, нѣсколько подобныхъ союзныхъ паръ угоняться въ самоувѣренности и юркости за занявшимися тѣмъ же дѣломъ представителями „талантливой націи“.

Появились, такимъ образомъ, переводы весьма различнаго достоинства. На десятокъ, другой отличныхъ литературныхъ переводовъ, сдѣланныхъ писателями-французами или исключительно подготовленными русскими работниками, хлынулъ ворохъ торопливыхъ, неряшливыхъ переводовъ, въ которыхъ повторялся строй русской рѣчи, разстановка словъ, не ясные для французовъ руссизмы, давалась передача текста фразы за фразой, безъ оттѣнковъ слога писателя, безъ заботъ объ общей гармоніи, о передачѣ впечатлѣнія оригинала. Интересъ нѣкоторой части французской публики къ открываемому ей литературному міру заставлялъ зна-

комиться съ его проявленіями и въ этой передачѣ, вынуждая читателя къ двойному труду: обыкновенному чтенію и мысленной передѣлкѣ французско-нижегородскаго текста на настоящій французскій. Легко понять, какъ много теряли отъ этого наши писатели, какъ ослаблялось впечатлѣніе отъ ихъ созданій. Нѣкоторыя вещи погублены были бездарностью переводчиковъ и ихъ жаргономъ. Такъ провалилась „Свадьба Кречинскаго“, переданная г. Бинштокомъ „своими словами“. Такъ казалось непонятнымъ и страннымъ многое въ русскихъ книгахъ французскимъ читателямъ. Кромѣ общаго уродливаго, не французскаго строя, сотни грубыхъ, простыхъ ошибокъ заставляли французовъ пожимать плечами при чтеніи нижегородско-бердическихъ переводовъ и adaptations.

Въ литературномъ вопросѣ такой важности нельзя быть голословнымъ и, какъ ни трудно показать это русскому читателю, даже и не дурно знакомому съ французскою рѣчью,—мы постараемся подтвердить наши замѣчанія убѣдительными примѣрами.

Вотъ переводчикъ, имя котораго мелькало чаще всего и снискало даже нѣкотораго рода извѣстность, г. Гальперинъ-Каминскій. Не заглядывая въ старыя его работы, остановимся на одной изъ новѣйшихъ, переводѣ гоголевскихъ „Вечеровъ на хуторѣ“, изданномъ Фламаріономъ.

Уже въ предисловіи Рудого Панька г. Гальперинъ путаетъ слова, безразлично употребляя *mets* и *plats* (блюда), совсѣмъ иначе ставимыя французами. Онъ дѣлаетъ выноски и объясненіе къ слову „дуля“

оставляя его безъ перевода, хотя сей международный символъ и показываніе его, считаемое оскорбительнымъ, испоконъ вѣку передаются французскимъ выраженіемъ *faire la figure*.

Дальше идетъ: „*Psio! commençait a poindre*“... *Poindre* (показываться), — говорятъ, когда дѣло идетъ о днѣ или солнцѣ. О рѣкѣ надо сказать — *paraître*. Переводчикъ ставитъ глаголъ *flammer* (*joues flammanes*), очевидно, вмѣсто *flamber* и *flammanes*. „*Ma Hanna*“, пишетъ онъ, вмѣсто *mon Hanna*, какъ велитъ благозвучіе. Онъ сѣетъ фразы, въ родѣ „*sur le cosaque un bonnet*“ вмѣсто *le cosaque avait un bonnet*; „*a la clarté de la lune eclatait un visage de jeune fille*“. Опасное положеніе лица дѣвушки, взрывъ котораго можетъ послѣдовать всякую минуту!.. *En poussant derriere elle la porte*, вмѣсто *en poussant la porte derrière elle*, — Русская разстановка словъ повторяется у него ежеминутно...

Сколько хотите такихъ же вольностей найдете и въ переводахъ г. Гольшмана, работавшаго и самостоятельно и въ сотрудничествѣ съ г. Жоберомъ. Въ „*Снѣ Макара*“, Короленка (изд. Олendorфа, 1894) находимъ: „*les tenebres obscures*“, „*la calvitie blanche de la colline*“. „*en cas de maladie*“ (вм. *quand il etait malade*) и т. п. Въ предисловіи къ этой книгѣ, нѣкій Жюль Казъ, неизвѣстно почему считающій себя компетентнымъ судьей, разсыпается въ похвалахъ г. Гольшману за его переводъ „*aussi litterale que litteraire*“... Совмѣстный трудъ гг. Гольшмана и Жобера, „приспособленіе“ романа Маркевича, печатавшееся два года назадъ въ „*Echo de Paris*“ — не лучше. Тамъ



найдете выраженія, въ родѣ „siffla-t-il, vexé“, (вмѣсто dit-il d'une voit sifflante, ибо насвистываютъ мотивъ, птица свищетъ, но никто не говорилъ еще свистомъ). Въ руссизмахъ, какъ engager un docteur, вмѣсто appeler, или prier de venir, въ плеоназмахъ, въ родѣ „regardait-il d'un air interrogatif et étonné“, нѣтъ тоже недостатка. Все это на фонѣ той общей безжизненной подстрочности, о которой говорилось выше. Такія свойства переводовъ г. Гольшмана не помѣшали ему, однако, снискать извѣстность и за свои труды этого рода получить орденъ, помнится, въ министерство Лейга.

Къ храбрымъ переводчикамъ принадлежатъ и г. Иванъ Странникъ. Въ „Моемъ спутникѣ“ М. Горькаго, переведенномъ имъ въ „J. des Débats“, читаемъ: „Tsè, tsè, fit-il avèc sa langue“. Трудно было бы герою Горькаго и сдѣлать это tsè чѣмъ-нибудь инымъ, какъ не своимъ языкомъ! „Un oiseau chantait avec provocation“ читаемъ далѣе и насъ одолѣваетъ страхъ, какъ бы бѣдная птица не была арестована въ качествѣ подстрекателя? Carottes ceuillis en route и chiens chevelus—неправильны. Надо сказать attachés en route и couverts des poils... Ошибки въ переводѣ „Смерти боговъ“ г. Мережковского въ свое время были отмѣчены въ печати г. Выжевой. Слова cicades и cigales, pinces и mouchettes и пр. поставлены тамъ переводчикомъ, г. Сорезомъ, совершенно произвольно, по вдохновенію свыше. Сохранена имъ и русская транскрипція античныхъ словъ, какъ tavgroble вмѣсто taurobole и т. п. Также и въ вышедшемъ прошлой весной сборникѣ переводовъ

изъ А. Майкова, „единственномъ одобренномъ семей поэта“, гдѣ въ строкѣ „О, пѣснь поэта, ты вольна, какъ пѣсня вольной гальціоны“, названіе поэтической птицы такъ и передано *galcione*, вмѣсто существующаго французскаго слова *alcyon*.

Наиболѣе усиленную переводческую дѣятельность проявляетъ г. Бинштокъ, печатающій нынѣ полное сорокатомное собраніе сочиненій гр. Л. Н. Толстого. Заглянемъ въ его передачу хоть двухъ изъ повѣстей нашего писателя, „Рубка лѣса“ и „Казаки“.

„Рубка лѣса“ полна руссизмовъ и русскихъ оборотовъ: „*Avec paroles*“ *avec Dieu!* „*J'ébranle la première pièce*“, „*En moi, ici, voilà ce qui se passe*“... Это передача дикаря, слово въ слово... „*En interrogeant sur la Russie*“—очевидно, вмѣсто „*en faisant des questions sur la Russie*... Отъ такой французской рѣчи недалеко и до извѣстнаго объявленія о гувернанткѣ, которую ищутъ „*pour marcher derrière les enfants et leur montrer la langue!*“.

Невѣроятную белиберду представляютъ военнотехническія подробности на страницѣ 376-й его перевода.

*Les buchers de nuit* (костры) свѣтятъ у г. Бинштока вмѣсто *feux de nuit, feux de bivouacs* и при ихъ свѣтѣ предлоги танцуютъ какой-то шабашъ вѣдьмъ: *les yeux se tournerent à la lisière*, вмѣсто *vers la lisière*, *dans l'entrée de la hutte* вмѣсто *à l'entrée* и т. п.

Общій характеръ языка переводовъ г. Бинштока сухъ и невыразителенъ. Чтобы увидѣть разницу художественнаго перевода и ремесленно-уродли-

ваго, достаточно сравнить переводъ „Казаковъ“ г. Бинштока, вышедшій въ собраніи сочиненій Толстого, издаваемомъ Стокомъ, съ переводомъ той же повѣсти Arvède Barine (г-жи Венсенъ), въ изданіи Гашета. Всѣ частныя замѣчанія при этомъ сравненіи покажутся излишними.

Отмѣченныя искаженія языка, уродливости и курьезы обратили на себя вниманіе французской печати и вышла презлая брошюра „On rassomode tout à Paris, legende franco-russe (Arras 1902), написанная вся на этомъ „français de Nijni-Novgorod“ и посвященная пореводчикамъ разсмѣтнаго типа. Своеобразный языкъ этой вещицы чрезвычайно выдержанъ и чтеніе ея знакомому съ предметомъ можетъ доставить не мало веселыхъ минутъ.

Дѣятельность людей, желающихъ ознакомить Европу съ нашей литературой, конечно, должна заслуживать всякаго сочувствія. Но намъ дороги и интересы нашихъ писателей, которые должны появляться передъ иноземной публикой въ своемъ подлинномъ, неизуродованномъ видѣ. Русскіе переводчики берутся за задачу едва ли посильную. Представьте себѣ переводы съ французскаго языка на русскій, сдѣланные французами. Сколько галицизмовъ, погрѣшностей вкралось бы въ нихъ, какъ были бы они натянуты и робки. И лучшими французскими переводами русскихъ произведеній являются понятно сдѣланные хорошо подготовленными французами. Таковы переводы гг. Дени Роша (повѣсти Чехова, Лѣскова, Горькаго и мн. другія) Жюля Легра. (Записки Мельшина) Широля:

(„Носъ“—Гоголя, „Дуэль“—Чехова), швейцарца Саломона (стихотворенія Тютчева). Увеличенія числа переводчиковъ этого типа друзьямъ русской словестности и надо желать всего болѣе \*).

---

---

\*) Этотъ очеркъ былъ замѣченъ французской початю и появился въ переводѣ въ парижскомъ журналѣ „Le Carnet“, 1904 г., № 8.



## ИЗЪ МІРА „НЕ ЛЮБО НЕ СЛУШАЙ“.

---

Въ числѣ моихъ книгъ есть томиковъ двадцать совсѣмъ особаго рода. Это старыя сочиненія французовъ о Россіи. Въ часы сильнѣйшей хандры я беру иногда съ полки эти книжки и ихъ торжественно-наивныя слова и фразы, случается, заставляютъ меня улыбаться въ минуты, когда не хотѣлось бы глядѣть на свѣтъ Божій.

Раскрывъ давній „Abregé de l'Histoire de l'empire de Russie“, я читаю, напримѣръ, такую подробность о возвышеніи и чествованіи пресловутаго Данилыча: „Menchikoff a été fait prince, et,—ce que plus est, —Dolgorouki...“: Меньшиковъ былъ сдѣланъ княземъ и,—что поважнѣе,—Долгорукимъ...“!

Я достаю „Odes et ballades“, Гюго, и узнаю, что „вскормленный морскими травами“ степной конь степной Украины, несетъ Мазепу мимо городовъ и башенъ, мрачныхъ горъ, сдвинувшихся въ длинныя цѣпи“, „villes et tours, monts noirs, liés en longues chaines“. Свѣдѣнія такого же рода пестрятъ обильно страницы „De Paris à l'Astrachan“ и „De Rurik à Shamye“ милѣйшаго Дюма.

Я изоощряю воображеніе, чтобы представить

себѣ декорацію одной изъ сценъ трагедіи „Гетманъ“ Дерулѣда: „Une grange dans une isba abandonnée“,—рига посреди заброшенной избы. Представить себѣ эту декорацію мнѣ необходимо, такъ какъ здѣсь именно соберутся запорожцы, которыми руководить женщина,—отважная la Maroucha...

Цѣлый рой милыхъ наивностей летитъ ко мнѣ со страницъ романовъ и повѣстей гг. De Jerebtzoff, De Semenoff, г-жѣ Багрѣвой-Сперанской, кн. Кантакузенъ, Alexandre D'Arc, авторши романа „La Steppe“, изъ всѣхъ силъ старавшихся увѣрить, что они совсѣмъ не русскіе, а французы.

Перлы и адаманты разсыпаны въ повѣсти Сентъ-Амана изъ событій 1812 года, въ драмѣ „La Barinia“ г-жи Готье. Какъ вѣнецъ этого причудливаго зданія, красуется обширный романъ Армана Сильвестра, „La Cosaque“.

Приключенія семинариста Михаила, „fils du pape Jeremeï“ и „казачки“ Ленски въ своемъ родѣ единственны. Сперва деревенская дикарка, слышущая въ народѣ русалкой, Ленска становится пѣвицей цыганскаго хора въ Москвѣ, потомъ супругою знатнаго графа Ильина, подругою итальянца-баритона Тадеони и оперною пѣвицей. Михаилъ преслѣдуетъ ее всюду и стрѣляется изъ-за нея. Спасенный par la petite nihiliste Missia, онъ догоняетъ ее въ Екатеринославѣ, увозитъ „en troïka“ отъ баритона, причемъ поджигаетъ казенный лѣсъ, гдѣ скрывается отъ погони. Его судятъ, ссылаютъ въ Сибирь на 20 лѣтъ и спутницей его каторги является нравственно возродившаяся Ленска...

Московскіе актеры цѣлуютъ въ этомъ романѣ

руки богатыхъ господъ. Графъ Ченко вѣрить въ русалокъ. Священникъ вѣнчаетъ молодыхъ „въ золотой тиарѣ“. Въ Москвѣ есть рыновъ *Sacrebache*, — Сухарева башня! На Украинѣ еще водится „дикія лошади, метущія степь своими растрепанными хвостами“...

Общія черты названныхъ произведеній—замѣчательное легкомысліе ихъ авторовъ и смѣлость, съ какой они повѣствуютъ о вещахъ, имъ совершенно незнакомыхъ.

Я полагалъ, что колекція моя закончена и что теперь, послѣ сравнительно давней дружбы французовъ съ русскими и выхода значительнаго числа переводовъ произведеній русскихъ писателей, появленіе книгъ въ родѣ перечисленныхъ стало невозможнымъ. Дѣйствительность показала, что возможно еще все, и собраніе мое обогатилось сочиненіемъ, вполне достойнымъ стать рядомъ съ выше названными, романомъ г. De Chonski „Nitchhevo!“ только что вышедшимъ.

\* \* \*

Въ словѣ „nitchhevo!“, по увѣренію автора, выражается русская житейская философія. Это наблюденіе давно сдѣлано иностранцами и извѣстно, что Бисмаркъ носилъ прибрѣтенное въ Россіи кольцо, на которомъ было вырѣзано это слово.

Если у Бисмарка наблюденіе имѣло обличительное значеніе, выражая ироническое отношеніе къ русскому „авось—да небось“, то Хонскій, въ качествѣ нашего друга, толкуетъ эту философію иначе. Онъ понимаетъ ее, какъ выраженіе

бодрости, не боящейся опасности и увѣренной въ лучшемъ будущемъ.

Извѣстно, что истина избираетъ для своего выраженія уста младенцевъ или людей смиренныхъ. Успокоительную и бодрую эту мораль героинѣ романа, Жанинѣ, вѣщаетъ крестьянинъ Яминовъ, полужнахарь, полуфилософъ, котораго она посѣщаетъ въ украинской деревнѣ вмѣстѣ съ цѣлымъ роємъ своихъ кузеновъ и кузинъ.

Читатель долженъ знать, что Жанина Теркова, вмѣстѣ съ дядей Алексѣемъ, „французомъ русскаго происхожденія“, приѣхала въ Россію, чтобы посѣтить тетку, г-жу Мавронию, французенку, вышедшую нѣкогда замужъ за русскаго инженера.

Мавронины—вдова съ дѣтьми—живутъ въ Малороссіи, въ имѣніи Пенукъ, гдѣ у нихъ обширныя каменноугольныя копи. Одинъ изъ сыновей Маврониной служитъ въ лейбъ-гусарахъ: другой—Сергѣй, завѣдуетъ разработкой угля, дочери состоятъ на положеніи барышень, ждущихъ жениховъ и замужества.

Дальніе путешественники сходятъ на маленькой желѣзнодорожной станціи. На платформѣ ихъ встрѣчаетъ какое-то косматое существо, съ громадной бородой, съ длинными волосами, падающими по плечамъ изъ-подъ бараньей шапки. Маленькіе, черные пронзительные глаза, огромный носъ и толстыя губы, раздвигающіяся поминутно въ постоянную улыбку. Это кучеръ Маврониныхъ Иванъ. Онъ суетится возлѣ приѣзжихъ и все шепчетъ: *Gospodі, ranié*, т. е. „помилуй насъ, Господи“, какъ увѣряетъ авторъ.



Кузень Сержъ, выѣхавшій навстрѣчу, сидить на козлахъ экипажа, пока Иванъ устраиваетъ приѣзжихъ. Онъ знакомится съ Терковыми, какъ толкотѣ выходить, чтобы сѣсть въ коляску, рекомендуясь имъ: „Serge Mavronine Michailowitch!“

Бдутъ по полямъ, причемъ наблюдаютъ интересный феноменъ, на который какъ-то не обратили до сихъ поръ вниманія ученые въ южной Россіи: необыкновенно быстрый переходъ ночи въ день.

— Мы не знаемъ, что такое заря,—объясняетъ Сергѣй,—такъ же, какъ не имѣемъ понятія о сумеркахъ. У насъ солнце, скрываясь, оставляетъ запасъ свѣта, достаточный, чтобы читать безъ огня. Звѣзды помогаютъ этому экономическому освѣщенію, и наступающій разсвѣтъ почти не приноситъ разницы: ночи какъ бы не бывало!

На полдорогѣ останавливаются дать вздохнуть лошадямъ и заходятъ въ трактиръ напиться чаю. Вдоль стѣнъ въ большой комнатѣ трактира стоятъ лавки, на которыхъ сидятъ крестьяне, разносчики и пастухи. Имъ подносятъ чашки съ горячей, „испускающей испаренія“ влагой, которую они поглощаютъ молча, держа куски сахара въ зубахъ.

Знакомство родственниковъ, не видѣвшихся раньше, совершается быстро. Сразу сближается Жанина съ двоюродными сестрами, изъ которыхъ особенно мила младшая, Илья Михайловна (Ilia Michailowna), преинтересный ребенкъ. У нея открытая, увлекающаяся душа, вся она—шаловливость и смѣлая отвага. Вскочивъ на лошадь, она кричитъ „Ekh-na!“ и мчится въ карьеръ. Преданный семьѣ старикъ-кучеръ любовно смотритъ на

нее и только шепчетъ вслѣдъ: „Ce n'est pas une femme, c'est un tcharte!“

Впрочемъ, и то сказать, лошади на Украинѣ совсѣмъ собственныя. Ихъ никогда не учать и не выѣзжаютъ и никто никогда ихъ не бьетъ. Чтобы остановить или исправить ихъ, достаточно „убѣжденія“. Такъ по крайней мѣрѣ увѣряетъ Сергѣй Мавронинъ:—„Не бываетъ примѣра, говоритъ онъ, чтобы у насъ били лошадей. Если они заупрямятся, мужикъ обращается къ нимъ съ ласковой просьбой и онѣ продолжаютъ путь“. Для прокормленія зимою, ихъ и другихъ животныхъ, въ степяхъ собираютъ мохъ, который и складывается въ запасъ на зимніе мѣсяцы.

Если къ кузинамъ Жанина почувствовала сейчасъ же дружбу, то энергичный и, какъ мы видѣли, столь свѣдущій кузенъ внушилъ ей любовь, оказавшуюся взаимною. Смутное вначалѣ, это чувство опредѣлилось и выяснилось во время совместнаго посѣщенія Жаниной и Сергѣемъ мудреца-мужика Яминова.

По безпредѣльнымъ степямъ ѣдутъ они къ его уединенному жилищу, которое ужъ показывается вдали. Вотъ плетень усадьбы. Сверху до низу онъ увить „de concombres, dont on fera les ogourtzi“ (стр. 52).

Въ избѣ Яминова—цѣлый звѣринецъ: овцы, куры, un enorme afflaschardi (овчарка), до прирученной ящерицы включительно, которую Яминовъ носитъ за пазухой. Яминовъ подноситъ гостямъ „хлѣбъ-соль“, которые заставляетъ непременно отвѣдать, и угощаетъ „kitichi“, т. е. кислыми

щами. Потомъ гадаеть Жанинѣ, изрекаетъ свою философію на мотивъ „nitschevo“, даетъ французенкѣ амулетъ, на обратной сторонѣ котораго пишетъ раскаленнымъ остріемъ свой житейскій девизъ, а Сергѣю объясняетъ, что ему далеко ходить нечего и что его судьба и счастье находятся передъ нимъ. Съ земными поклонами провожаетъ онъ гостей, которые только окончательно сознали въ его избѣ то, что уже подозрѣвали и чувствовали раньше.

Жанина еще нѣсколько времени проводить въ Россіи. Но наступаетъ срокъ, когда надо возвращаться во Францію. Напрасно удерживаютъ ее всѣми силами родственники, особенно пылкая Илья Михайловна, обѣщающая выучить ее игрѣ на гузлѣ (родъ гитары, поясняетъ авторъ). Увы, надо ѣхать на родину! Въ сосѣднемъ съ деревней монастырѣ, гдѣ ее встрѣчаютъ „монахи, одѣтые во все бѣлое“, Жанинѣ повторяютъ то же предсказаніе о скорой свадьбѣ и о ея суженомъ. Но ей ненадо повторять этого, ни укрѣплять въ этомъ чувствѣ, такъ какъ она вся охвачена имъ и, уѣзжая, твердитъ только одно: „Я люблю его, люблю, люблю!“...



Дѣйствіе романа засимъ переносится во Францію, катится какъ по рельсамъ и идетъ какъ по писанному. Жаниной, состояніе которой почти погублено спекуляціями безпутнаго дядюшки, прельщается богатый и превосходный фабрикантъ-бельгіецъ. Вагрели, дѣлающій ей предложеніе. Но она

любить кузена и любима имъ, и если онъ не рѣшается еще просить ея руки, то потому лишь, что и его дѣла по разработкѣ копей крайне шатки. Съ помощью денегъ, взятыхъ у того же бельгійца, котораго онъ принимаетъ въ компаньоны, Сергѣй поправляетъ дѣла и является въ Парижъ вѣнчаться съ Жаниной въ ту минуту, когда, подъ вліяніемъ родныхъ, ей предстоитъ сказать рѣшительное слово. Любовь ея достается русскому кузену и такимъ образомъ, оправдывается житейская философія русскаго крестьянина...

Объ этомъ „Nitchewo!“, по ничтожности его, ничего не стоило бы и говорить, если бъ книжка, вышедшая все же у одного изъ лучшихъ издателей (Colin), не являлась показателемъ не исчезнувшихъ смѣшныхъ понятій о Россіи, державшихся и благополучно процвѣтающихъ во Франціи, не взирая на политическую дружбу и нѣкоторое знакомство съ русской литературой. Въ такомъ положеніи дѣла значительная доля вины падаетъ на французскую печать, особенно періодическую.

Она удѣляетъ слишкомъ мало вниманія явленіямъ русской жизни и литературы. Въ то время какъ всякое любопытное явленіе итальянской, англійской и другихъ литературъ находитъ оцѣнку во французскихъ журналахъ, пересказывается и комментируется ими, ознакомленіе съ русскими литературными новинками происходитъ случайно и не систематично. Появленіе переводовъ тѣхъ или иныхъ произведеній нашихъ писателей обязано главнымъ образомъ любви къ дѣлу и убѣжден-



ной энергіи нѣкоторыхъ писателей-переводчиковъ. Большее знакомство съ русской литературой внесло бы во Францію болѣе правильныя представленія и понятія о Россіи и сдѣлало бы невозможнымъ появленіе литературныхъ уродовъ. Какъ ни незначителенъ самъ по себѣ романъ „Nitchovo!“, все же въ печати, имѣющей такихъ дѣятелей по знакомству съ Россіей, какъ гг. Вогюэ, Дени Рошъ, Жюль Легра и другіе, едва ли могутъ быть терпимы господа въ родѣ Muguem de Chonski, печальнаго автора разсмотрѣнной нами печальной книжки.

---

# ПИСАТЕЛЬНИЦЫ.

## НОВОЕ ПОКОЛѢНІЕ.

---

Послѣдніе годы прошлаго вѣка и первые новаго ознаменовались появленіемъ на книжномъ рынкѣ необычайнаго количества произведеній женскаго пера. Какъ бы прорвало плотину и волны дамскаго творчества понеслись безъ удержа. Въ былое время на словесной аренѣ подвизались только писательницы съ призваніемъ. Растопчина, Жадовская, Хвощинская, Марко-Вовчокъ, Кохановская писали потому, что такъ велѣло имъ преопредѣленіе, потому что не могли не писать. Съ внѣшнимъ развитіемъ печати, съ численнымъ ея увеличеніемъ, совпавшимъ съ пониженіемъ литературнаго вкуса, появилось множество новыхъ дѣятельницъ, принесшихъ на судъ общества плоды своихъ чувствъ и думъ. О чемъ они думали, что чувствовали?

\* \* \*

Вотъ романъ одной изъ новыхъ писательницъ г-жи Т. Мятлевой, „Сестра милосердія“,—(1900 г.), а вотъ и его содержаніе:

Молодой гвардеецъ Лонгиновъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ службы, кутежей и увлеченія прекрасной графиней Румынцевой, ѣдетъ въ деревню, знакомится съ сосѣдями Ардынцевыми и влюб-

ляется въ ихъ племянницу Надю. Свадьба откладывается до возвращенія изъ-за границы родныхъ Анатолія. Въ этотъ промежутокъ времени Лонгиновъ ѣдетъ въ Петербургъ, встрѣчаетъ въ театрѣ графиню, уже овдовѣвшую, увлекается ею снова и измѣняетъ невѣстѣ. Мучимый однако душевной тревогой и мчась какъ-то на велосипедѣ къ Румынцевой, онъ попадаетъ подъ конку, которая тяжело его ранитъ. Въ болѣзни, въ бреду, онъ выдаетъ свою тайну передъ ухаживающей за нимъ Надей, призывая какую-то неизвѣстную Еву. Эта Ева, графиня Румынцева, является вскорѣ сама. Все объясняется. Надя приноситъ въ жертву свою любовь и дѣлается сестрою милосердія. Лонгиновъ женится на Евѣ, но въ бракѣ его ждетъ разочарованіе и ожидавшагося счастья нѣтъ и въ поминѣ.

Новая, право, неизвѣстно ужъ и которая по счету, варіація на тему объ измѣнчивости и коварствѣ мужчинъ. Не проходитъ мѣсяца, чтобы не появлялось большихъ и малыхъ романовъ и повѣстей дамъ-писательницъ, разрабатывающихъ все эту тему!

Литература служить отраженіемъ дѣйствительности. Дѣло очевидно не шуточное, и предъ нами явленіе русской жизни слишкомъ наболѣвшее. Мужчины совсѣмъ отбились отъ рукъ и съ ними прямо ничего не сообразишь! Ужъ чего, кажется, лучшаго, какъ героиня романа г-жи Мятлевой Надя,—чистый ангелъ! Правда, она очень бѣдна у нея всего восемьдесятъ тысячъ. Но съ такой бѣдностью кое-какъ еще можно мириться. Что

до нравственныхъ качествъ Нади, то даже неприятно сравнивать ихъ съ пустой, легкомысленной, „мерцающей глазами“ Румынцевой. А по единодушному свидѣтельству дамъ-писательницъ, успѣхъ въ любви именно выпадаетъ на долю женщинъ типа Румынцевыхъ...

Что же однако дѣлать, какъ бороться противъ этого зла? Добиваться ли возстановленія за проступки этого рода отмѣненной ссылки въ Сибирь? Но сами писательницы не пожелаютъ этого, такъ какъ ихъ „преступники“, которыхъ онѣ, очевидно списываютъ съ дѣйствительности, — народъ все красивый и видный. Установить ли за случай измѣны тяжкія тѣлесныя кары? Открыть ли въ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ каѳедры феминизма? Какъ бы то ни было, а предпринять что-нибудь необходимо, такъ какъ положеніе дѣлъ слишкомъ серьезно, и отечество рѣшительно въ опасности!..

Достойно наказанный неудачей брачной жизни, Лонгиновъ и здѣсь проявляетъ несносную мужскую требовательность и капризы. Самъ вѣдь онъ признается, что они съ графинею «пили изъ чаши земной радости съ упоеніемъ, пили большими глотками, пока не допили до дна...» Никакіе восторги не вѣчны и бракъ есть могила любви. Самъ Петрарка,—говоритъ Байронъ,—не писалъ бы весь вѣкъ сонетовъ Лаурѣ, если бы въ свое время на ней женился...

\* \* \*

Пѣсня г-жи Мятлевой спѣта, такъ сказать, только вполголоса. До страшной силы звука, до



аккордовъ полного отчаянія, мелодія о мужскомъ коварствѣ достигаетъ у г-жи О. Юшковой въ повѣсти «Не для нея придетъ весна...» (1889 г. Казань).

Считалось до сихъ поръ, что «нѣтъ повѣсти печальнѣе на свѣтѣ, какъ повѣсть о Ромео и Жюльетѣ». Выходъ жалостной, какъ казанская сирота, новеллы г-жи О. Юшковой долженъ разрушить это убѣжденіе. Необыкновенная сила чувства и оеобычайный ея драматизмъ рѣшительно не позволяютъ изложить содержаніе повѣсти въ простомъ пересказѣ. Передать его удобнѣе въ видѣ драматическихъ сценъ. Всѣ положенія удержаны безъ перемѣны, и сцены изложены словами автора, только кратко сгруппированными. Для невѣрующихъ отмѣчены страницы.

Дѣйствующія лица: Софія—молодая вдова-помѣщица; Вава—ея сестра; Ртищевъ, — отставной, полный жизни, офицеръ, впослѣдствіи мужъ Софіи; Соковкинъ—его пріятель; Генріета—французенка.

Сцена I. Софія (Справивши новоселье и проводивъ гостей, подходитъ къ окну). Какъ онъ хорошъ! (Машинально растегиваетъ корсажъ, обнажаетъ бѣлую грудь и съ истомой закрываетъ глаза). Но вѣдь здѣсь Вава,—красавица!... Полюбить ли онъ меня?... Полюбить!... (Ложится спать. Роскошное тѣло ея просвѣчиваетъ сквозь тонкое батистовое бѣлье, а высокая грудь скрывается въ складкахъ дорогихъ кружевъ. Безмятежно засыпаетъ, полная надеждъ на свѣтлое будущее. Стр. 22—23).

Сцена II. Садъ. Луна. Софья и Ртищевъ, страстно сливаясь голосами, поютъ цыганскій дуэтъ. «Я васъ люблю и вы повѣрьте». Вава, блѣдная, слушаетъ ихъ. При словахъ «Ей поцѣлуй горячій нуженъ», она болѣзненно вздрагиваетъ и идетъ въ домъ.

Ртищевъ (Слѣдуя за ней). Куда вы? Въ этой ночи столько же поэзіи, какъ и въ васъ.

Вава. Я такая же проза, какъ другія. Эта ночь больше гармонируетъ съ вами и съ Соней. Иду кончать переводъ (Уходитъ).

Ртищевъ. Которою заняться? Вотъ задача!...

Сцена III. Пикникъ. Гости.

Соковнинъ (Продолжая разговоръ съ Вавой). Такъ вы были очень маленькая, когда скончалась ваша мама?

Вава. Она умерла въ день появленія моего на свѣтъ.

Соковнинъ. Какая вы, должно быть, хорошая, цѣльная натура! (Влюбается въ нее).

Ртищевъ. У Софіи состояніе, у Вавы нѣтъ ничего, а у меня еще меньше. Женюсь на Софіи!

Сцена IV. Садовая бесѣдка. Ртищевъ, обнявъ Софію, страстно цѣлуетъ ее.

Софія. Миша Миша, какъ хорошо съ тобой!.. Тсс!... Сюда идутъ...

Соковнинъ (Проходя мимо съ Вавой). Хотя вы и любите Ртищева, но я благоговѣю передъ вами (Заглядывая въ бесѣдку). Судьба ему мать, а мнѣ мачиха!... Прощайте!

Сцена V. Обѣдъ послѣ вѣнчанья Софіи и Ртищева.

Софія (къ Вавѣ). Побудь въ Нелидовкѣ до нашего возвращенія. Учи моего сына Жоржа.

Ртищевъ. Только при этихъ условіяхъ мы можемъ спокойно ѣхать за границу. (Гости встаютъ изъ-за стола. Ртищевъ подходитъ къ Вавѣ). Я выпилъ немного, это развязало мнѣ языкъ. Пусть ваше сердце пойметъ, что дѣлается въ моей душѣ. Вы моя святыня... Но поздно... Позвольте поцѣловать васъ...

Вава. Спасибо. Но поцѣловать... простите, не могу.—(Ртищевъ, съ упрекомъ смотря на Ваву, бросаетъ съ досадой бокалъ въ растворенное окно. Молодые уѣзжаютъ въ Парижъ. (Стр. 90 и слѣд.).

Вава (Беретъ тетрадь съ переводомъ). Бороться ли съ сердцемъ, заняться ли переводомъ, Жоржемъ и двойной бухгалтеріей?... Нѣтъ, я не въ силахъ бороться! (Ложится въ постель и заболѣваетъ чахоткой).

Сцена VI. Спальня Вавы.

Соковнинъ (Входя). Чахотка! Ха-ха-ха! (Истериически смѣется). Несчастная, несчастная! Скажите, гдѣ она лежитъ?

Генріета (Вавѣ). Хочешь видѣть Леонида Ивановича?

Вава (слабымъ голосомъ). Дайте пенюаръ бѣлый кашемировый и накидку. Я приглажу волосы... Зовите!

Соковнинъ. Дорогая! Мы обвиняемся съ тобою. Я исцѣлю твою душу... (Обручаются).

Сцена VII. Парижъ. Номеръ гостиницы.

Ртищевъ. Пора намъ домой, Соня. Надо при-  
няться за дѣло.

Софія. За дѣло? Ты ли это говоришь, я не  
узнаю тебя. (Слуга вноситъ телеграмму, Софія чи-  
таетъ). «Мы сейчасъ обручились съ Леонидомъ.  
Здоровье мое плохо. Торопитесь домой. Время до-  
рого. Жизнь коротка. Вава».—Стр. 122.

Ртищевъ. Чья жизнь коротка? Ничего не  
понимаю (Слуга вноситъ новую телеграмму, Рти-  
щевъ читаетъ): «Выѣзжайте немедленно. Вава  
плоха, Жоржъ здоровъ».—Подайте счетъ!... (Уѣз-  
жаютъ).

Сцена VIII и послѣдняя. Комната Вавы. Шторы  
спущены.

Вава. Леонидъ, мнѣ хочется жить. Я всѣ стра-  
данія твои искуплю моею любовью.

Соковнинъ. Мы еще много радостныхъ дней  
скоротаемъ вмѣстѣ.

Вава (вздвогнувъ). Я слышу колокольчики...  
Это онъ! (Мысли ея путаются).

Генріета. Несчастливая! Она все еще его лю-  
битъ!

Софія (входя). Вава, какая ты блѣдненькая.  
Ну, теперь тебѣ лучше? (Ртищевъ тихо входитъ и  
останавливается въ дверяхъ. Вава слабо манитъ  
его рукой).

Вава. Я умираю за тебя! (Сухія губы ея ин-  
стинктивно ищутъ поцѣлуя. Ртищевъ приподни-  
маетъ Ваву съ подушки и крѣпко прижимаетъ къ  
своей груди, страстно впиваясь въ ея знойныя гу-  
бы). Какъ хорошо!... Миша, спой «Не для нея при-



детъ весна»... (Ртищевъ поетъ романсъ. Вава слушаетъ, опираясь на мощное плечо своего жениха. Ея чудные волосы, путаясь въ тонкой ткани оренбургскаго платка, падаютъ до самыхъ колѣнъ. Свѣтъ камина чрезъ розовое стекло экрана освѣщаетъ ее.—Стр. 140—143).

В а в а (сл абѣющимъ голосомъ). Скажите О. Юшковой... Напечатать въ Казани... Разгонисто... какъ страдала Вава... (едва слышно) Въ типографіи Родіонова... Цѣна одинъ рубль... (Умираетъ).

Такова казанская новелла, къ которой не прибавлено ничего, кромѣ нѣсколькихъ словъ послѣдняго монолога Вавы. Да и добавлять къ ней нечего.

Изъ достовѣрнаго источника мы узнали, что судьба преслѣдовала Ваву и за гробомъ. Переводъ ея не былъ принятъ нигдѣ. Бѣдняжка безразлично переводила слово *glace* словами и ледъ, и зеркало, *ver*—означало у нея и червякъ, и стекло, а *quatre vingt quatorze*—обратилось у нея въ «четыре, двадцать, четырнадцать». Но и правду сказать, до правильности ли перевода ей тогда было?..

\* \*  
\*

Большинство изъ новыхъ писательницъ выступаетъ съ отдѣльными томами повѣстей и романовъ. Г-жѣ Аннѣ Иноземцевой такая процедура показалась медленной и скучной и она дебютировала въ печати прямо собраніемъ своихъ сочиненій, украшенныхъ портретомъ автора (1899 г. Нижний-Новгородъ). Измѣнена форма литературнаго дебюта, измѣнены нѣсколько и мотивы повѣстествова-

ній. За мужчинами, конечно, надо глядѣть въ оба, но, иногда, не совсѣмъ правы и женщины. Такія скоро, впрочемъ, возвращаются на путь истинный.

Машенька Костромина, обладательница «лица персикова цвѣта», шестнадцати лѣтъ выдана замужъ за казеннаго актера, играющаго благородныхъ отцовъ. Онъ на двадцать пять лѣтъ старше ея, нижняя губа его отвисла. Это не мѣшаетъ однако благородному отцу стать отцомъ настоящимъ. Но Машенька не любитъ сына, Никольчика. Нося съ утра до вечера корсетъ, она заболѣваетъ изнурительной лихорадкой (?) и зоветъ на помощь врача Снѣжкова. Этотъ «высокій и статный блондинъ» производитъ на нее впечатлѣніе «довольно пріятное». Начинаются порыванія къ нему, стихи... Но дѣло Машеньки не выгорѣло. «Ей и въ голову не приходило, что Григорій Григорьевичъ чловѣкъ порядочный и большой любитель кофе съ слоеными булками». Учащенность его визитовъ бѣдняжка объясняла не достоинствами своихъ булокъ, а своими собственными. Въ это время опасно заболѣлъ Никольчикъ, и только у постели его Машенькѣ мелькнула мысль о ея материнскихъ обязанностяхъ. Склонясь надъ его кроваткой, сначала тихо, потомъ громче и громче она запѣла романсъ «Дитятко, милость Господня съ тобою», пѣла долго и допѣлась до того, что имъ обоимъ, и ей и сыну, спать захотѣлось. И,—о чудо!—послѣ этого, Снѣжковъ сталъ ей противенъ, и если являлся иногда, въ чаяніи поживиться кофеемъ съ булочками, то возбуждалъ въ ней гадливое чувство.

Мужъ, въ другомъ очеркѣ, удивляется, почему и какъ случилось, что жена его завела себѣ возлюбленнаго, Жана Климова, о чемъ онъ, «обладая значительною долею слуха», узналъ изъ бесѣды прислуги. Сперва это привело его въ бѣшенство и онъ «пустилъ въ лицо супруги туалетный подсвѣчникъ», но потомъ раскаялся «въ такой пошлости» и уразумѣлъ, что «женщина не можетъ обойтись безъ телячьихъ нѣжностей, безъ того, что называется поэзіей души». Онъ обратился къ телячьимъ нѣжностямъ, и невѣрность жены сняло какъ рукой, а Жанъ Климовъ былъ отвергнутъ съ великимъ конфузомъ.

Восемь такихъ нравоучительныхъ разсказовъ образуютъ первый томъ собранія сочиненій г-жи Иноземцевой. Пріятная особенность этого изданія та, что съ перваго же знакомства съ авторомъ читателю дается портретъ автора, чего по утвердившейся рутинѣ едва дождешься въ концѣ карьеры писателя! Но отчего не идти противъ отжившихъ обычаевъ?

Грядущія поколѣнія узнаютъ, что у г-жи Иноземцевой глаза были темные, лицо чистое, носъ умѣренный, волосы подвитые, возрастъ бальзаковский, что символическая брошка, въ видѣ одинокой крупной слезы, оттеняла ея нарядъ... Слава коварна, можетъ прійти поздно. Не лучше ли дать свой портретъ заранѣе, въ цвѣтущемъ и интересномъ возрастѣ?..

\* \* \*

Почти одновременно, въ 1900 г., появились два дамскихъ романа изъ числа наиболѣе откро-

венныхъ. Въ Москвѣ вышли „Реликвіи любви“, г-жи А. Мельницкой, а въ Харьковѣ „Въ своихъ берегахъ, г-жи Илларионовой.

Продолжая тѣ-же вопли о непонятыхъ, прекрасныхъ женщинахъ, которыхъ такъ обижаютъ изверги-мужчины, авторши этихъ книгъ, въ своемъ дамскомъ патріотизмѣ, едва ли не хватили черезъ край, выставивъ, какъ предметъ поклоненія просто обладательницъ жгучихъ темпераментовъ. Если героини г-жи Илларионовой только ежечасно мечтаютъ о любви и, войдя въ „свой берега“, — домашнее хозяйство и супружескую жизнь, дѣлаются безвредными, то г-жа Мельницкая возводитъ на пьедесталь рѣшительную блудницу.

У Елены Доможировой заболѣла спина и, чтобы помочь дѣлу, она отправилась за совѣтомъ къ доктору Вержбицкому. Едва увидѣлъ докторъ Елену, какъ проникся къ ней особымъ интересомъ и, хотя въ этомъ не было никакой надобности, потребовалъ подробнаго осмотра мнимой больной. Она оказалась сложенной, какъ Венера. Докторъ придумалъ десять болѣзней и велѣлъ являться къ нему каждый день. Началось „прирученіе“ пациентки, черезъ весьма недолгое время уже „принадлежавшей“ ему.

У врача была невѣроятно злая жена. Утомясь пациенткой, врачъ рѣшилъ избавиться отъ нея, и для этого не нашелъ ничего лучшаго, какъ открыть все женѣ и совмѣстно съ нею начать преслѣдовать Елену. Преслѣдованія довели ее до тяжелой болѣзни. Въ это время докторъ поредалъ



пріятелю своему письма, которыя она писала ему во время ихъ кратковременнаго „блаженства“. Въ этихъ письмахъ центръ тяжести разсказа и въ нихъ-то и рисуется „идеально-чистая Леля“.

Ты не хочешь понять такой простой вещи, что въ двухъ людяхъ, истинно и глубоко любящихъ, живетъ болѣе могучая сила, чѣмъ стыдъ. Вотъ почему этого стыда я и не чувствую теперь съ тобой... Хочется дать тебѣ какъ можно больше счастья, блаженства, словомъ всего того, что въ предѣлахъ земной любви, и мнѣ кажется—я не умѣю, ты не совѣмъ доволенъ мной!..

„Сегодня у тебя точно выросли крылья страсти. Ты взмахнулъ ими такъ могуче, захватилъ мимоходомъ свою маленькую дѣточку и утонулъ съ ней въ морѣ такихъ наслажденій, которыя описать нельзя, потому что слова и фразы блѣдны сравнительно съ пережитымъ восторгомъ. Зачѣмъ только ты маскируешь свою страстность, не понимаю. Вѣдь наши натуры такъ похожи...

„Ты умѣешь внушить и показать, что ты дѣйствительно любишь, что ты весь поглощенъ любовью и полонъ только мной. Даже въ моемъ воображеніи ты не мечтался мнѣ никогда тѣмъ моремъ невыразимаго блаженства, которое ты далъ. Я могла прожить жизнь, не сойдясь съ тобою, и я не имѣла бы права сказать съ увѣренностью, что я жила, что я наслаждалась, что была вполне удовлетворена“...

Въ такихъ и болѣе сильныхъ выраженіяхъ рисуетъ скромная авторша свою любимую героиню, Письма эти, по ея мнѣнію, „трогательныя реликвіи любви“, къ которымъ надо съ благоговѣніемъ прикасаться. Въ посланіяхъ современной Элоизы, каждый, по мнѣнію автора, „долженъ почувствовать ея страданія“.

Оплакивая потомъ несчастье, постигшее Елену, — измѣну и отчужденіе коварнаго доктора, г-жа Мельницкая трогательно изображаетъ ее въ новой

роли: покровительницы, дающей пріютъ женамъ, ищущимъ приключеній тайно отъ мужей! „Въ сердцѣ Лели не было ни малѣйшаго укора. Какъ знать, думала она, можетъ быть, за этой видимой вѣтренностью скрывается тоскующее, обиженное сердце, жаждущее любви какъ воздуха?“

Въ концѣ-концовъ Елена рекомндуется, какъ чистое непорочное созданіе, какимъ однимъ открываются тайны будущей жизни и вѣчности!..

Харьковскій романъ скромнѣе.

Въ немъ три дочери помѣщика мечтаютъ о бракѣ. Старшая заводитъ романъ съ бѣднякомъ-офицеромъ, который съ отчаянія въ неудачѣ ухаживанья застрѣливается. Вторая бѣжитъ съ сосѣдомъ-помѣщикомъ, третья выходитъ замужъ отъ нечего дѣлать и „кстати“ за господина, любившаго старшую сестру. Эту старшую, готовящуюся быть матерью, отецъ выдаетъ въ наказаніе замужъ за приказчика. Приказчикъ оказывается необыкновенно подходящимъ человѣкомъ. Въ женѣ его происходитъ перерожденіе, она начинаетъ любить его. Всѣ три сестры входятъ, наконецъ, въ „свои берега“ и въ длинномъ эпилогѣ повѣствуютъ намъ о сравнительныхъ качествахъ своихъ мужей, какъ отцовъ ихъ дѣтей и супруговъ.

Изъ нашего изложенія нѣсколькихъ не исключительныхъ а типичныхъ сочиненій новѣйшихъ писательницъ, читатель видитъ самъ, какъ серьезна ихъ дѣятельность и сколько новыхъ и значительныхъ темъ и мотивовъ эти почтенныя художницы внесли въ современную русскую литературу...

---

# „ГИМНЪ ХОЗЯИНУ“

Для соло. хора и оркестра.

Изъ собранія рукописей Черниговскаго земскаго музея,  
имени В. В. Тарновскаго.

Музыка М. И. ГЛИНКИ.

Слова Н. А. МАРКОВИЧА.

*Allegro moderato.*

CAMPANELLI.  
(Колокольчики.)

CANTO.  
(Теноръ.)

PIANO.

(in 8<sup>va</sup>)

Viol. pizz.

(\*)

(\* вѣроятно в)

Fag.

*tr*

Пре-кра-сенъ, о хо-зяинъ ми-лый О-

*Viol. arco.*

ча-ро-ва-те-ленъ твой домъ какой живительною

*cresc.*

симой Для насъ исполненъ твой приемъ, Те-

*mf*

*Clar.*



о́бъсь Гармо́ніей о́тъчу́ства Да - етъ Поэ́зія при -

*p*

вѣтъ Бла - го - дарятъ тебѣ ис - кус - ства И

Clar. *dolce*

*Fag.*

яр - кій живописи свѣтъ Бла - го - дарятъ тебѣ ис -

*mf*

кус\_ства И яр\_кій жи\_во\_пи\_си свѣтъ.

Sopr.  
Alti.

*ff*

CORO. Глянь, какъ радостны всѣ ли\_ца

Ten.  
Bassi.

*ff*

Пусть ки\_пить ви\_но стру ей

Далѣе рукопись кончается. Хотя въ партитурѣ строки оркестра и пустыя, но надо предполагать, что было сопровожденіе, такъ какъ у каждой строки названія инструментовъ и знаки въ ключахъ снова обозначены.







**THE LIBRARY OF THE  
UNIVERSITY OF  
NORTH CAROLINA  
AT CHAPEL HILL**



**RARE BOOK COLLECTION**

**The André Savine Collection**

---

AC65  
.G6  
1906

